

~~W 236  
392~~

Рос <sup>3-1</sup>  
1-197 д.б.в.

Вал. Булгаков

Толстой - моралист

ГЛАВЯ



Прага

1923

XXVI - 5326

~~XXVI - 5326~~

Издательство „Пламя“  
в Праге  
под общим руководством  
Профессора Е. А. Ляцкого.

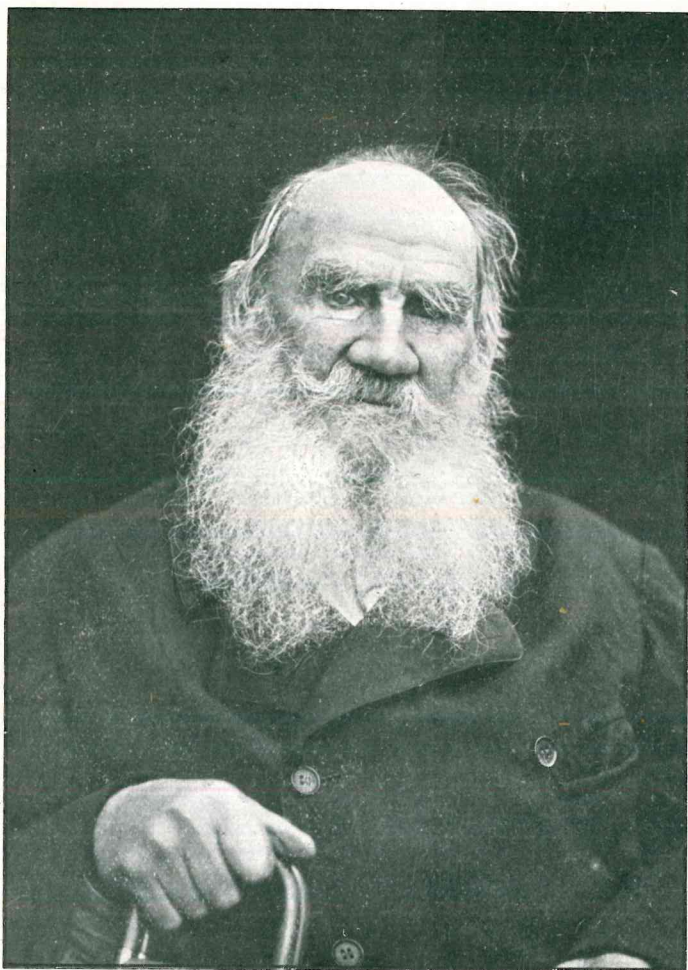
Студен  
русский

00-100

Печатано в тип. „Легиография“  
Praha II., Revoluční, 6.

## ВАЖНЕЙШИЕ ПОГРЕШНОСТИ.

Стр.	Строка сверху	Напечатано :	Должно быть :
7	17	в подлинном	подлинном
27	16	во внешнем	спуститься во внешнем
52	25	высшем духовном на- чале	высшим духовным на- чалом
53	8	жизнеописания	жизнепонимания
55	7	в самом... в самой	о самом, о самой
58	20	насилиям и отречение	насилием и отречение
61	7	обстоятельств	отлагательств
63	1	мучительным	мучительным чувствам
69	8	все	все-таки
76	5	Наживиной	Наживину
83	послед.	по ознакомлениям	по ознакомлении
89	21	озлобления	ослабления
96	5	в которую	в которые
98	11	разрешается	разрушается ;
98	27	непосвященных	непросвященных
99	27	жизневидец	жизневедец



## Толстой-моралист

*«Стремление плоти — добро личное. Стремление души — добро других.»*



I.

Толстой разделил судьбу всех великих явлений. Выросши, еще при жизни своей среди нас, в какой то миф, он поразил внимание людей своей величиною, гигантскими размерами дарования, задач и личности, стал сказкой в действительной жизни, волшебным миражем, имеющим воплощение. Этот гений, эта гора стала видна издалека. Люди, наиболее далекие от него или обладавшие наибольшей близорукостью, все же ясно различали его общие, грубые очертания и, на основании этих впечатлений, составляли свои суждения о столь исключительном явлении. Причем этого общего разглядывания, разглядывания издалека, им часто казалось достаточным для того, чтобы знать Толстого, тогда как, в сущности, большинство знало его очень мало, — и это было естественно: ибо видеть на горизонте гору — еще не значит ознакомиться с ее природой. И как случайному путешественнику никогда и не приходит в голову исследовать поднимающийся вдаль, в стороне от его дороги пик, так и людям, занятым житейской суетой, по большей части и в голову не приходило начать изучать Толстого серьезно. В отдельных случаях нужен был особый повод, особый подарок (какой нибудь золотой самородок)



из недр горы, чтобы привлечь к ней жадное и глубокое и пристальное внимание любознательного и пытливого человека. С таким вниманием направлялись к Толстому некоторые, осчастливленные его дарами, большинство же предпочитало судить и говорить о нем, не зная его, лишь по мимолетным и случайным наблюдениям издалека.

И в результате, образ Толстого в общем представлении мало по малу заволакивался облаком ложных суждений и мнений, принимая вовсе не тот вид, какой ему, действительно, был свойственен, вследствие чего необходимы новые усилия, новая работа, чтобы очистить этот образ от всего того, что было ему навязано.

Люди не могут, наконец, не набрести вплотную на великую гору и не узнать ее. Спадет со временем, как шелуха, и все то неверное, случайное, ошибочное и наносное, с чем связывается сейчас в нашем представлении образ Толстого.

Толстой был поразительным по своей разносторонности человеком, и вот люди видят одну его сторону и, судя по ней, высказывают общее суждение о Толстом, часто глубоко ошибочное. Так, нет ничего более обыкновенного, как известное рассуждение о том, что мы имели будто бы, собственно, двух Толстых: Толстого-художника и Толстого-философа, и что можно, будто бы, поэтому признавать одного и отрицать другого. На такую удочку — разделение единого Толстого на двое — попадают не только профаны, но подчас и люди очень умные и считающиеся образованными. Между тем, следует признаться, что невозможно, без известного рода недобросовестности и лицемерия, как перед самим собой, так и перед другими,

утверждать серьезно о Толстом нечто подобное. Толстой, конечно, был один. Он был именно Толстой, и больше никто. Теперь уже начинают это понимать.

Однако, следовало бы признать вполне естественным вопрос о том: что же общего в Толстом — художнике и Толстом — мыслителе? Где то однородное начало, единое лицо Толстого, которое мешает нам вводить какую то двойственность в понимание этого великого человека? Что соединяет Толстого-юношу с Толстым-мужем и, наконец, Толстым-стариком? Что в них общего? И когда это общее, основное впервые выявилось в Толстом, достигло наиболее яркого выражения и всегда ли оставалось однородным?

Менялись ли формы или были изменения по существу?

Чтобы получить ответ о Толстом в подлинном, изменим нашу методологическую позицию. Перестанем глядеть на Толстого извне, со стороны, как это мы всегда делаем, забудем на время о Толстом-писателе, объекте изучения, а посмотрим на него просто как на человека, последим за ним и за его духовной жизнью и изнутри, как равные за равным. Ведь все, что совершается в нем как в человеке, найдет естественный отклик и в нас самих. И в то же время, не может быть лучшего пути, чтобы таким образом понять Толстого и как мыслителя, и как художника.

Но достижима ли эта задача? Ведь, как мы уже говорили, Толстой — это была такая богатая, одаренная разнообразными способностями, свойствами и чертами личность. Где найдем мы ключ к ее пониманию? Какую сторону характера или деятельности Толстого примем мы за руководящую?



Никакую, и все вместе. Нам придется иметь в виду лишь основу его «я», вокруг которой, как вокруг неподвижного стержня, и обращаются самые разнообразные стороны его личности. Попробуем угадать основное стремление души Толстого, которое окрашивает соответствующим колоритом всю его духовную жизнь. Для этого нам надо углубиться и в Толстого-мыслителя, и в Толстого-художника, и, главное, в Толстого — человеческую личность.

Изучая Толстого таким образом, мы убедимся в наличии чрезвычайно глубокой, поучительной и своеобразной духовной эволюции, которую он пережил, проходя одну ступень за другой в своем последовательном внутреннем развитии на протяжении нескольких десятков лет, причем нами будет установлено, что отличительными признаками этой эволюции является: единство общих ее стремлений при разнообразии форм.

Попробуем исследовать этот вопрос и проследить духовную эволюцию Л. Н. Толстого в основных ее фазисах.

## II.

Если обратиться к ранней юности Л. Н-ча, нашедшей особенно яркое свое отражение в его дневниках, то здесь мы наталкиваемся на наличие постоянных исканий у молодого Толстого. «Я ищу все какого то расположения духа, взгляда на вещи, образа жизни, которого ни найти, ни определить не умею», говорит он сам о себе. (Дневник, запись 11 июня 1851 г.). Вглядываясь в природу этих исканий юного Л. Н-ча, невозможно назвать их иначе, как религиозными; они слишком глубоки, чтобы можно было понимать их иными. Это — искание высшего типа, не удовлетворяющееся ходячими ответами... И вот эта то черта — *религиозные искания* — и есть, как мне кажется, основная принадлежность духовного существа Толстого и основной внутренний стимуль, совершавшейся с ним и в нем, духовной эволюции, духовного развития и роста.

Позже, в статье «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1902) Л. Н. Толстой так определил религию вообще: «Истинная религия есть такое, согласное с разумом и знанием человека, установленное им отношение к окружающей его безконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой безконечностью и руководит его поступками». И именно



вот это то стремление — в бесконечном найти высшее оправдание, обоснование и смысл жизни — и проходит красной нитью через всю духовную работу Л. Н-ча, не покидая его с ранних лет юной жизни до самой глубокой старости и выражаясь сначала то страстно, мучительно и порывисто, то — впоследствии — в спокойной и радостно-уверенной форме непреложной надежды на высшее удовлетворение.

Перелистывая дневник молодости Л. Н-ча, мы невольно поражаемся тому, какая поучительная картина борьбы за нравственную чистоту и красоту человеческой личности раскрывается перед нами. Вечно живое сердце Толстого волнуется и бьется перед нами в трепетных муках зверка, пойманного в капкан телесности и преодолевающего ее путем страшных жертв и усилий.

Порывы молодого Толстого — самые идеальные и, главное, вполне сознательные. «Какая цель жизни человека?» — спрашивает он сам себя и отвечает:

«Какая бы ни была точка исхода моего рассуждения, что бы я ни принимал за источник оного, я прихожу всегда к одному заключению: цель жизни человека есть всевозможные способствования всестороннему развитию всего существующего.

Начну ли я рассуждать, глядя на природу, я вижу, что все в ней постоянно развивается и что каждая составная часть ее способствует бессознательно к развитию других частей. Человек же, как он есть, такая же часть природы, но одаренная сознанием, должен так же, как и другие части, сознательно употребляя свои душевные способности, стремиться к развитию всего существующего.

Стану ли я рассуждать, глядя на историю, я ви-

жу, что весь род человеческий постоянно стремится к достижению этой цели.

Стану ли рассуждать рационально, т. е. рассматривая одни душевные способности человека, то в душе каждого человека нахожу это бессознательное стремление, которое составляет необходимую потребность его души.

Стану ли рассуждать, глядя на историю философии, найду, что везде и всегда люди приходили к тому заключению, что цель жизни человека есть всестороннее развитие человечества.

Стану ли рассуждать, глядя на богословие, найду, что у всех почти народов признается существо совершенное, стремиться к достижению которого признается целью всех людей.

Итак, я, кажется, без ошибки за цель моей жизни могу принять сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего. Я бы был несчастливейший человек, ежели бы я не нашел цели для моей жизни — цели общей и полезной, полезной потому, что бессмертная душа, развившись, естественно перейдет в существо высшее и соответствующее ей. — Теперь же жизнь моя будет вся стремлением деятельным и постоянным к этой одной цели» (Дневник, 17 апреля 1846-47 г. Подчеркнуто мною. В. Б.).

На этой дороге — стремления к бесконечному совершенствованию — юноша Толстой хочет быть свободным от каких бы то ни было связывающих его волю пут. Тут ярко выразилась, с одной стороны, присущая ему потребность доведения всякого поло-



жения или понятия до его логического конца, с другой — любовь его к правде и только к правде.

«Дойду ли я когда нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство; ибо в человеке, который не зависит ни от какого стороннего влияния, дух, необходимо по своей потребности, превзойдет материю, и тогда человек достигнет своего назначения», — пишет Толстой в своем дневнике 16 июня 1846-47 г.

Еще раньше, 17 марта того же года, читаем там же: «Все, что сообразно с первенствующей способностью человека — разумом, будет равно сообразно со всем, что существует; разум отдельного человека есть часть всего существующего, а часть не может расстроить порядок целого. Целое же может убить часть. Для этого образуй твой разум так, чтобы он был сообразен с целым, с источником всего, а не с частью, с обществом людей; тогда твой разум сольется в одно с этим целым, и тогда общество, как часть, не будет иметь влияния на тебя».

Тут особенно характерно это противопоставление «общества», как части, «целому, источнику всего», столь очевидно обнаруживающее истинную религиозную природу души Л. Н-ча и так воскрешающее в памяти позднейшее утверждение старика Толстого о том, что несправедливо причислять его к мыслителям политическим, так как он является мыслителем религиозным по преимуществу.

Самые попытки молодого Толстого улучшать себя, образовывать свой характер, бороться со своими пороками, отличаются необыкновенной напряженностью и напши, как это теперь уже известно, полное выражение в его молодых дневниках. Напомним се-

бе хотя бы только один отрывок из этих дневников, в котором Толстой выступает перед нами, как нелюбимый и строгий до суровости, до жестокости судья самого себя. Это запись от 8 марта 1851 г.:

«Опять долго не очнулся, однако, преодолел. Николеньке написал письмо (необдуманно и торопливо). В контору — тою же, мною принятою глупою формою (обман себя). Гимнастику делал неосновательно, т. е. слишком мало соображаясь с своими силами, эту слабость вообще я назову заносчивостью, отступление от действительности. Смотрелся часто в зеркало, это глупо: физическое себялюбие, из которого, кроме дурного и смешного, ничего выйти не может. С Пуаре опять конфузился (обман себя). На коннозаводстве действовал мало. Первый поклонился Голицыну и прошел не прямо, куда нужно. Рассеянность. На гимнастике хвалился (самохвальство). Хотел Кобылину дать о себе настоящее мнение (мелочное тщеславие). Много слишком ел за обедом (обжорство). Поехал к Волконскому, не кончив дела (недостаток последовательности). Наелся сладостей, засиделся, лгал».

И так — всегда. Сначала такое «шпынянье» самого себя кажется даже мелочным, но, конечно, это — не мелочность, а крайняя требовательность к самому себе. Главное же — то, что ведь источник этой требовательности — совершенно самостоятельный: собственная природа автора дневника. Никто необходимости такой требовательности ему не подсказал. Среда, в которой рос молодой Толстой, и понятия ее были ужасны. Он сам после вспоминал, как его тетка, «чистейшее существо», с которой он жил, всегда говорила ему, что она «ничего не желала бы так для



него, как того, чтобы он имел связь с замужней женщиной».

Юноша Толстой, стремясь к очищению себя от своих пороков и к самосовершенствованию, составлял особые «правила» для себя, потом нарушал их, снова составлял и опять падал. «Я написал слишком много правил, — записывает он в своем дневнике 18 апреля 1846-47 г. — и хотел им всем следовать, но силы мои были слишком слабы для этого».

Недовольство собой выражается у него то лирическим настроением, то молитвою, обращенною к Богу.

Будучи уже офицером в Севастополе, в 1854 г., Толстой вносит в дневник следующее свое стихотворение:

Когда же, когда наконец, перестану  
Без цели и страсти свой век проводить,  
И в сердце глубокую чувствовать рану,  
И средства не знать, как ее заживить?  
Кто сделал ту рану? Лишь ведает Бог,  
Но мучит меня от рожденья  
Грядущей ничтожности горький залог,  
Томящая грусть и сомненье.

Чувство недовольства собой и желание найти высшую, духовную опору исторгает из его души пламенные обращения к существу всеобъемлющему, к Богу. «Вчера я почти всю ночь не спал; пописавши дневник, я стал молиться Богу, — пишет Л. Н. в своем дневнике 11 июня 1851 г. — Сладость чувства, которую я испытал на молитве, передать невозможно... Я желал чего то высочайшего и хорошего, но чего, я передать не могу, хотя и ясно сознавал, что я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим, я просил Его простить преступления мои, но нет, я

не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели Оно дало мне эту блаженную минуту, то Оно простило меня. Я просил, и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил Его, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединил все, и мольбу и благодарность... Нет, вот оно чувство, которое я испытал вчера. — это любовь к Богу, — любовь высокую, со-

### ВАЖНЕЙШИЕ ПОГРЕШНОСТИ.

Стр.	Строка сверху	Напечатано:	Должно быть:
7	17	в подлинном	подлинном
27	16	во внешнем	спуститься во внешнем
52	23	высшем духовном начале	высшим духовным началом
53	8	жизнеописания	жизнепонимания
55	7	в самом... в самой	о самом, о самой
58	20	насилиям и отречение	насилиям и отречение
61	7	обстоятельств	отлагательств
63	1	мучительным	мучительным чувствам
69	8	все	все-таки
76	5	Наживиной	Наживину
83	послед.	по ознакомлениям	по ознакомлении
89	21	озлобления	ослабления
96	5	в которую	в которые
98	11	разрешается	разрушается
98	27	непосвященных	непросвещенных
99	27	жизневидец	жизневедец

них, слава, тот, которого цель Бог — велик».



него, как того, чтобы он имел связь с замужней женщиной».

Юноша Толстой, стремясь к очищению себя от своих пороков и к самосовершенствованию, составлял особые «правила» для себя. Потом нарушал их, снова составлял и опять падал. «Я написал слишком много правил, — записывает он в своем дневнике 18 апреля 1846-47 г. — и хотел им всем следовать, но силы мои были слабы».

чески  
Богу.

Толстой  
творе

высш  
менн  
Богу.  
дневн  
ем дн  
торук  
Я же  
перед  
Мне

я просил Его простить преступления мои, но нет, я

не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели Оно дало мне эту блаженную минуту, то Оно простило меня. Я просил, и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил Его, но не словами, но мыслями. Я в одном чувстве соединил все, и мольбу и благодарность... Нет, вот оно чувство, которое я испытал вчера, — это любовь к Богу, — любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное.

Зачем писал я все это? Как плоско, вяло, даже бессмысленно выразились чувства мои; а были так высоки».

«Молю тебя, Господи, открой мне свою волю», — записывает Л. Н. в своем дневнике 14 декабря 1852 г.

Все это — и «правила», и чувства мучительного искания и недовольства собой, и стихи, и молитвы — может показаться, пожалуй, обычным выражением душевного роста хорошего юноши. Но нет, это орленок мучается в узких еще тисках не сложившегося, не определившегося сознания.

Этому барченку, этому юноше случается подчас заносить в свой дневник такие мысли, которые сделали бы честь седому мудрецу, заглянувшему в глубины духовных откровений, — какому-нибудь Амиелю, Паскалю или Канту.

Так, 29-го июня 1852 г. 24-х-летний Л. Н. заносит в свой дневник такую мысль:

«Тот человек, которого цель есть собственное счастье, дурен; тот, которого цель есть мнение других, слаб; тот, которого цель есть счастье других, добродетелен; тот, которого цель Бог — велик».



В том же году 13-го июля Л. Н. записывает в дневнике:

«Стремление плоти — добро личное. Стремление души — добро других».

Но еще более поражает нас, к какому знаменательному пророчеству о себе самом, в связи с своей позднейшей ролью в истории развития религиозного сознания человечества, способен был молодой Толстой. Мы не можем не процитировать здесь этого пророчества, которое приводится во всех биографиях Л. Н.-ча.

5-го марта 1855 г. (т. е. 26-ти лет от роду) Л. Н. записывает в своем дневнике:

«Разговор о Божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле.

Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему и когданибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».

Итак, мы видим, насколько глубоко лежали в душе Толстого зародыши религиозных стремлений и сознания необходимости обосновать свою жизнь на внутренней связи с высшим духовным существом — Богом.

### III.

Но с молодым Толстым случилось то, что часто происходило с людьми, выросшими в рамках навязанной им с детства официальной веры, которая для каждого считалась обязательной и которая, в то же время, не давала настоящего ответа на глубочайшие запросы духа наиболее пытливых и ищущих натур. Отойдя, под влиянием среды и критического отношения собственного сознания, от православной, церковной веры, молодой Толстой поддался «всей той внушительной, самоуверенной, торжествующей мудрости людской, которая внушалась ему сознательно и бессознательно всем окружающим» («Верьте себе», 1904), вследствие чего и потерял ту наивную, чистую, детскую веру, которая до сих пор питала его. Первые, чистые стремления его, стремления «быть хорошим, хорошим в смысле евангельском, в смысле самоотречения и любви», заменились (как после рассказывал Л. Н. в обращении к юношеству «Верьте себе») «очень определенными, хотя и разнообразными желаниями успеха перед людьми, быть знатным, ученым, прославленным, богатым, сильным, т. е. таким, которого бы не я сам, но люди считали хорошим» ...



«Двадцати шести лет — говорит Л. Н. в «Исповеди» (1879—1882), — я приехал в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли, как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше».

Толстой всецело отдается художественному творчеству. Но нечего и говорить, что те задатки, которые были вложены в него природой, не умерли. Он не мог и к самому писательству относиться чисто внешним образом. Глубочайшие запросы души брали свое. Если рассудок, а, может быть, и расчет отверг веру, то могучий, живой дух не мог помириться с безверием. И, действительно, мы видим, что религиозные искания Л. Н. продолжают, хотя и в новой форме. В художественных образах, посредством интуиции, сознание Толстого творит свою религию.

Кто откажет в глубине и продуктивности этому интуитивному религиозному творчеству?

Вот они проходят перед нами, эти образы...

Кто из нас не помнит юродивого Гришу в «Детстве» (1852) и его страстную молитву, подслушанную детьми и с таким захватывающим чувством переданную в первой же повести начинающим литератором Л. Толстым?

А Оленин в «Казаках» (1852) и его рассуждения о счастье? — «И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье — вот что, — сказал он сам себе: счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человеке вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни,

любви — может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желанием. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение»... Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому сделать добро, кого бы любить»...

Не менее замечательно для молодого Толстого отношение его к войне, выраженное и в «Набеге» (1852), особенно в освобожденной от цензурных искажений версии этого рассказа\*) и в «Севастопольских рассказах» (1855), отношение, как известно, близкое отвечающее тем взглядам на войну и милитаризм, которые позже сложились у Толстого, как плод сознательного религиозно-философского мышления.

Точно так же, еще в эти ранние годы, годы художественного творчества первого периода, определяется взгляд Толстого на несправедливость и преступность социального неравенства людей, как противоречащего тому единому началу добра, которое заложено во всех людях, — об этом свидетельствует повесть «Люцерн» (1857), с ее трогательным образом уличного певца-нищего.

В «Войне и Мире» (1864—1869), в образах Андрея Болконского и Пьера Безухова, мы видим лю-

\*) См. «Сочинения гр. Л. Н. Толстого», изд. 12-е. М., 1911. Т. 2-й — «Война? — говорит Толстой в «Набеге». — Какое непонятное явление. Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет».



дей, стремящихся решить и решающих по своему те же мировые вопросы — вопросы о Боге, религии, смысле жизни, — которые не могли не тревожить по-прежнему и автора романа. «Что дурно? Что хорошо? Для чего жить и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» — вот какими вопросами мучается Пьер Безухов, приходящий затем, как и Андрей Болконский, к мысли о б е с к о н е ч н о м (вспомним определение религии, данное Толстым в 1902 г.), как основе всего.

Прекрасно определяет автобиографическое значение обоих этих типов великой толстовской эпопеи биограф Л. Н.—ча П. И. Бирюков: «Князь Андрей и Пьер Безухов, эти две психологические антитезы холдного скептика и наивного мечтателя, с двух противоположных сторон приходят, или, вернее, приводятся жизнью к Богу. Всегда стремившийся к самой высокой религиозной правде Л. Н. в то время еще не сознавал ее ясно, не сознают ее и его герои. Один страданием, смертью, другой прикосновением к всегда правдивой и потому божественной стихийной народной жизни — приводятся к радостному ощущению близости Божества, но оно остается для них все же подернутым какою то неразгаданной тайной\*»).

Да, Божество и его законы для Толстого, автора романа «Война и Мир», остаются пока все еще не разгаданной тайной, но эта тайна скоро будет разгадана. Вместе с дальнейшим развитием художественного творчества первого периода (до начала 80-х г.г.), продолжают и религиозные искания автора. И мы видим, как в герое другого замечательного романа Толстого «Анна Каренина» (1873—1876) Константи-

\*) П. И. Бирюков. «Л. Н. Толстой. Биография Т. I-й.

не Левине, снова и снова, все более и более определенными чертами намечается сам Лев Толстой, — Лев Толстой, как то громадной величины и всеобъемлемости культурное явление конца XIX и начала XX века, которое мы знаем.

Мы знаем также, что обще-религиозные представления, или, вернее, обще-религиозный уклон автора, к этому времени уже достаточно определились. Это очевидно и из рассуждений Левина в «Анне Карениной» \*), и хотя бы из той замечательной оценки этого романа, как произведения, таящего в себе глубокий религиозный смысл, которую дал ему другой гениальный русский писатель, современник Толстого, Ф. М. Достоевский.

Вот что писал Достоевский о романе Л. Н. Толстого, — романе, стоящем на переломе всей духовной деятельности Л. Н., когда то, что до сих пор чувствовалось им только как бы инстинктом, как бы интуитивно, и выражалось робко, несмело, намеками — хотя и сильными, но непостоянными, наполовину оставаясь и для самого автора как бы своего рода «неразгаданною тайною», — теперь начинало приобретать формы вполне определенные и стройные:

«... Никакой муравейник, никакого торжество «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следовательно, и от виновности и преступности... Ясно и понятно до очевид-

\*) «Что радует меня? Что я открыл? Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина... Я знаю смысл моей жизни: жить для Бога, для души».



ности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая остается та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, который говорит: «Мне отмщение и Аз воздам» \*). Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека... Судья человеческий должен знать о себе, что он грешен сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, если сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосердию и Любви. А чтобы не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения в таинственной и роковой неизбежности зла, человеку именно указан выход. Он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа, когда преступники и враги преобразуются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу, в существа, которые самым взаимным всепрощением сняли с себя ложь, вину и преступность и тем разом сами оправдали себя с полным сознанием, что получили право на то» \*\*).

Общую оценку художественного творчества Толстого первого периода мы могли бы лучше всего произвести словами одного из наиболее тонких ценителей и исследователей Толстого, Н. Н. Страхова: «Ху-

\*) «Дневник писателя».

\*\*) Там же.

дожник ищет следов красоты человеческой, ищет в каждом изображаемом лице той искры Божией, в которой заключается человеческое достоинство личности, — словом, старается найти и определить со всей точностью каким образом и в какой мере идеальные стремления человека осуществляются в действительной жизни» \*).

И после всего этого еще находятся люди, которые могут утверждать, что Толстой-мыслитель — это одно, а Толстой-художник — другое...

\*) Эпиграф Толстого к роману «Анна Каренина».



#### IV.

Уже и того, что намечается в художественных произведениях Толстого первого периода, достаточно для характеристики его религиозных представлений, или, вернее, стремлений, тяготений, потому что, как правильно говорит Вирюков, религиозная истина не открылась еще тогда Л. Н-чу во всей полноте и не была до конца им осознана. Художественное творчество не давало возможности Толстому подойти вплотную и обдумать во всех подробностях все сильнее и сильнее занимавшую его религиозную идею. Тут было не до образов, не до Левиных и Безуховых, когда сам художник, по его признанию, ежедневно вечером, ложась спать, прятал от себя веревку, чтобы ночью не повеситься на перекладине между шкафами в своей комнате: так тяжел был тот душевный кризис, который переживал Толстой, и так велика жажда хоть какого нибудь выхода из него.

Появляется потрясающая «Исповедь» Толстого (1882), в которой он, обнажая свою душу, с необыкновенной силой и изобразительностью описывает свои религиозные искания и излагает их ход.

Сила души победила посторонния влияния. Толстой вернулся к вере. Именно вернулся, потому что потребностью ее с самой юности трепетала его душа.

«Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому — пишет в «Исповеди» сам Толстой. — Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего все человечество, т. е. я вернулся к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница (прибавляет Л. Н.), что тогда все это было принято бессознательно теперь же я знал, что без этого я не могу жить». (Подчер. мною. В. Б.)

Затем появляются «В чем моя вера» (1884), «Так что же нам делать» (1886) и др. книги, словом, все то, что и составило, в своей совокупности, «толстовство» или учение Толстого в глазах читателя, и что является, в сущности, гениальным выражением христианской истины для нашей современности. Толстой с чрезвычайной логичностью и последовательностью развил основное положение христианства о сыновности всех людей одному Отцу-Богу, выведя из этого положения все приложения его к жизни отдельного человека и к жизни всего человеческого общества. На основании этого существеннейшего утверждения христианства о братстве всех людей, как сынов Божьих, Толстой отверг всякое насилие, войну, суды, тюрьмы, смертную казнь, государство, собственность и провозгласил закон равенства, во всей его ширине и глубине.

Основные черты этого мировоззрения всем известны и я не буду здесь излагать его.



Замечательно, однако, что в тот долгий срок жизни основоположника от «В чем моя вера» 1884 г. до «Пути Жизни» 1910 г., «толстовство» и теоретическое — в писаниях Л. Н., и практическое — в жизни Л. Н. и его многочисленных последователей, — вовсе не оставалось неподвижным, одним и тем же, всегда равным самому себе, с одними и теми же чертами и признаками. Оно, без сомнения, эволюционировало, по мере роста в значительной степени изменило свою физиономию по сравнению с временем зачатия, рождения. И не будет преувеличением сказать, что лишь очень немногие из близких или наиболее внимательных по отношению к Толстому уловили эту эволюцию уже народившегося «толстовства», а большинство все еще оценивает «толстовство» по тем детским формам, с какими оно узнало его в период появления на свет.

Какая же это эволюция? В чем выросло «толстовство»? Где та последняя и высшая ступень, на которую оно поднялось?

Попробуем ответить на эти вопросы.

Психологически отпадение Толстого от веры произошло, главным образом, оттого, что вера эта поразила его своей непоследовательностью и несогласованностью с жизнью людей. «Все живут на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни», — говорит он в «Исповеди». Другими словами, жизнь сама по себе, вера — сама по себе. И вот основным качеством той новой веры, которую создает Толстой, является ее требование последовательности во всем. Жизнь теснейшим образом должна зависеть от веры. Нужно разрушать те формы жизни, которые не соответ-

ствуют вере. Верить Толстой научился у народа. Он сравнил свою жизнь с жизнью народа и ужаснулся. Он увидел труд народа и свою праздность. Он захотел исправить свою жизнь по жизни народа. «Все, что прежде казалось еще хорошим и высоким — говорит он в книге «В чем моя вера», — почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов, — все это стало для меня дурным и низким, — мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов — все это стало для меня хорошим и высоким». Тут перед Толстым встает уже, хотя и на религиозной почве, не чисто внешний идеал: бросить прежний, праздный, развратный барский образ жизни и уйти в народ, опроститься, во внешнем обиходе до жизни простого трудового человека, мужика, рабочего. То теоретическое обоснование, которое получают новые воззрения Л. Н-ча, — главным образом, в книге «В чем моя вера», — сводится именно к истолкованию учения Христа не только, как имеющего «глубокий метафизический», а также «общечеловеческий», но и «самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека». «Этот смысл — говорит Толстой в сочинении «В чем моя вера», — можно выразить так: Христос учит людей не делать глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа» (гл. X).

Все изложение книги «В чем моя вера», в сущности, и посвящено именно этому вопросу: об исполнимости учения Христа, в том чисто практическом значении, которое имеют его заповеди, и о тех невзгодах и бедствиях, как в личной, так и в общественной жизни, с которыми связано отступление от этих



заповедей. «Учение Христа не может быть не принято людьми, — говорит Толстой, — не потому, что нельзя отрицать то метафизическое объяснение жизни, которое оно даст (отрицать все можно), но потому, что только оно одно дает правила жизни\*), без которых не жило и не может жить человечество, не жил и не может жить ни один человек, если он хочет жить, как человек, т. е. разумною жизнью» (гл. XI).

Мы не даром подчеркиваем это утверждение Толстого о том, что только одно христианство дает «правила жизни», потому что, как мы увидим дальше, впоследствии Толстой будет утверждать прямо обратное.

Смысл учения истолковывается таким образом, что неизбежным следствием принятия учения должно явиться немедленное и полное осуществление человеком всех «правил», ведущих как его, так и все человечество, к лучшей, идеальной форме жизни.

Людам, приходящим к вере, ко Христу, тут все время предлагается что то «делать» (или чего то «не делать», что одно и то же), т. е. быть последовательными и во внешнем смысле. «Христос учит тому, — говорит Толстой, — чтобы люди выше всего ставили свет разума, чтобы жили сообразно с ним, не делали бы того, что они сами считают неразумным\*). Считаете неразумным идти убивать турок или немцев, — не ходите; считаете неразумным насилием отбирать труд бедных людей для того, чтобы надевать цилиндр и затягиваться в корсет или сооружать затрудняющую вас гостинную, —

\*) Подчеркнуто мною. В. В.

не делайте этого; считаете неразумным развращенных праздностью и вредным сообществом людей сажать в остроги, т. е. в самое вредное сообщество и самую полную праздность, — не делайте этого; считаете неразумным жить в зараженном городском обществе, когда можете жить на чистом воздухе; считаете неразумным учить детей прежде и больше всего грамматикам мертвых языков, — не делайте этого. Не делайте только того, что делает теперь весь наш европейский мир: жить и не считать разумной свою жизнь, делать и не считать разумными свои дела; не верить в свой разум, жить несогласно с ним».

Все содержание христианского учения рассматривается Толстым в книге «В чем моя вера», как он сам же заявляет об этом почти с первых строк ее, с точки зрения открывшегося ему нового, чисто практического смысла евангельского положения о непротивлении злу. Это положение — говорит Толстой, — «есть положение, связующее все учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда оно есть закон. Оно есть точно ключ, открывающий все, но только тогда, когда ключ этот просунут до замка» (гл. II). Излагая затем пять заповедей Христа (не гневайся, не прелюбодействуй, не клянись, не противься злу и люби ближнего), Толстой раскрывает их внутренний смысл именно в теснейшей связи с основным положением о непротивлении злу, подчеркивая, главным образом, не личное, а именно общественное значение каждой из пяти заповедей. Он с необычайной силой и красноречием бичует пороки современного ему общества, скрывшего, в целях морального самооправдания, заповедь о непротивлении злу, и мечтает о том, как



изменилась бы жизнь всех людей, если бы они приняли и исполняли бы эту заповедь. «Все люди будут братья и всякий будет всегда в мире с другими, наслаждаясь всеми благами мира тот срок жизни, который уделен ему Богом. Перекуют люди мечи на орала и копыя на серпы. Будет то царство Бога, царство мира, которое обещали все пророки, и которое близилось при Иоанне Крестителе, и которое возвестил Христос, говоря словами Исайи»... (гл. VI).

Исполнение пяти заповедей Христа не только не трудно, как говорят некоторые, но совершенно естественно и неизбежно. «Если людям показано, что им лучше делать, то как же они могут говорить, что они желают делать то, что лучше, но не могут? Люди не могут делать только то, что хуже, а не могут не делать того, что лучше» (гл. VII). «Учение Христа устанавливает царство Бога на земле. Несправедливо то, чтобы исполнение этого учения было трудно; оно не только не трудно, но неизбежно для человека, узнавшего его» (гл. XI).

И так как, говоря об исполнении пяти христианских заповедей, Толстой — автор «В чем моя вера» имеет в виду, главным образом, именно внешнее их исполнение, внешнюю последовательность, — то он предвидит и то возражение, что «нельзя идти одному человеку против всего мира» (гл. VIII). «Если я один среди мира людей, не исполняющих учение Христа, — говорят обыкновенно — стану исполнять его, буду отдавать то, что имею, буду подставлять щеку, не защищаясь, буду даже не соглашаться на то, чтобы идти присягать и воевать, меня оберут и, если я не умру с голоду, меня избыют до смерти, и если не избыют, то посадят в тюрьму или расстреляют, и я напрасно погублю все счастье своей жизни

и всю свою жизнь» (гл. VIII). Автор признает, что с человеком, исполняющим учение Христа, может быть именно так, но это не вызывает в нем никакой мысли о «послаблении», хотя бы и с тем, чтобы не переставать сознавать, что поступаешь дурно. Напротив, он дает весьма суровую и непреклонную отповедь в ответ на голос какого бы то ни было сомнения или колебания. «Христос — говорит он — предлагает свое учение о жизни, как спасение от той губительной жизни, которою живут люди, не следуя его учению, и вдруг я говорю, что я бы и рад последовать его учению, да мне жалко погубить свою жизнь. Христос учит спасению от погибельной жизни, а я желаю эту погибельную жизнь. Стало быть, я считаю эту свою жизнь вовсе не погибельной, считаю эту жизнь чем то действительным, мне принадлежащим и хорошим. В этом то признании своей этой мирской, личной жизни за что то действительное, мне принадлежащее, и лежит недоразумение, препятствующее пониманию учения Христа... И потому, чтобы понять учение Христа, надо прежде всего опомниться, одуматься... Всегда смерть придет раньше, чем будет окончена башня твоего мирского счастья. И если ты вперед знаешь, что сколько ни борись со смертью, не ты, а она поборет тебя, так не лучше ли, уж не бороться с нею и не класть свою душу в то, что погибает наврное, а поискать такого дела, которое не разрушалось бы неизбежно смертью?»... (Там же). И Толстой говорит, что единственным выходом для христианина является выполнение в своей жизни заповедей, данных Христом. «Я умру так же, как и все, — прибавляет он, — так же, как и не исполняющие учения; но жизнь моя и смерть будут иметь смысл и для меня, и для всех. Моя жизнь и смерть будут слу-



жить спасению и жизни всех, а этому то и учил Христос». (Там же).

Итак, нет пути мимо прямого и буквального исполнения пяти заповедей Христа, и особенно заповеди непротивления, причем все рассуждения о «неисполнимости» и о «трудности» учения признаются совершенно неуместными и неосновательными.

Автор знает, что христианство — это «такое дело, которое спасет человечество» (гл. IV), и потому он с негодованием говорит о тех, кто называет христианский идеал — неисполнимой мечтой. «Учение Христа о непротивлении злему — мечта, — восклицает он. — А то, что жизнь людей, в душу которых вложена жалость и любовь друг к другу, проходила и теперь проходит для одних в устройстве костров, кнутов, колесований, плетей, рванья поздней, пыток, кандалов, каторг, виселиц, расстреливаний, одиночных заключений, острогов для женщин и детей, в устройстве побоищ десятками тысяч на войне, в устройстве периодических революций и пугачевщин, а жизнь других — в том, чтобы исполнять все эти ужасы, а третьих в том, — чтобы избегать всех этих страданий и оплачивать за них, — такая жизнь не мечта. Стоит понять учение Христа, чтобы понять, что мир, не тот, который дан Богом для радости человека, а тот мир, который учрежден людьми для гибели их, есть мечта, и мечта самая дикая, ужасная»... (гл. IV).

И автор спешит нарисовать воображению читателя одну за другою картины истинного счастья, того счастья, которое принесет всем нам жизнь по-христиански, жизнь с исполнением пяти евангельских заповедей и заповедей непротивления. Тут — и общение с природой, и труд на земле, и се-

мейные радости и пр. (После эти главы из «В чем моя вера» предприимчивыми издателями издавались не раз отдельной брошюрой, под заглавием «В чем счастье»).

Л. Н. Толстой не замечает как бы и противоречия с прежними своими словами о том, что смысл жизни не может заключаться в личном счастье человека, какое имеется несомненно в картинах живописуемого им рая на земле для исполняющих учение; и точно так же, того, что подобные картины счастья за исполнение учения, — счастья хотя и не на небе, а на земле, — все же в значительной степени напоминают отвергнутое автором и не свойственное истинной религии понятие награды за добрую жизнь. Нельзя, конечно, отрицать, что такая награда, в большинстве случаев, и, действительно, приходит, потому что от добра и бывает добро, а не зло, — но только ведь рассчитывать на это человеку, желающему жить доброй жизнью не для своей выгоды, а для Бога, — не приходится. Служение Богу исполнением заповедей добра так же часто несет за собой счастливую и довольную внешнюю жизнь, как и необходимость жертвы этой жизнью, ради верности высшему идеалу. Во всяком случае, какой бы то ни было расчет на благие внешние последствия добрых дел и доброй жизни для личности самого религиозного человека вполне исключается истинной религией из духовного обихода этой личности, и мы увидим, как настойчиво подчеркивал впоследствии, в старости, Л. Толстой эту мысль. Главное же то, что и само то благо, которое несет добрая жизнь, имеет чисто не внешний, вещественный, осязательный характер, а чисто духовный и отвлеченный, внутренний, в то время, как внешние условия



могут складываться при этом как раз наиболее неблагоприятным образом...

Вот, вкратце, тот символ веры, к которому приходит Л. Н. Толстой в начале 80-х г. г. и который он помещает в конце своей книги.

«Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.

Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно.

Я верю, что и до сих пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех не исполняющих, мне все таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной гибели, как исполнять это учение, как ничего нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел дверь спасения.

Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне Отец жизни.

Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной гибели и дает мне здесь наибольшее благо, а потому я не могу не исполнять его» (гл. XII).

Глубокой искренностью звучат эти слова Л. Н.—ча, искренностью, отличающей и всю его замечательную книгу. Вера беспредельная, вера, не знающая границ своим порывам, вера, готовящаяся перевернуть мир, одушевляла автора во время писания этой книги.

Расширим рамки нашего исследования и припомним себе другие писания Толстого того же времени, а также развитие его собственной жизни, и мы убе-

димся, что ничто в них не противоречит изложенному здесь пониманию этого периода духовной эволюции Л. Н.—ча. Последовательность именно как живое дело, как воплощение учения в реальной действительности, выдвигается новым жизненным непониманием на первый план. Толстой начала 80-х г. г. весь — порыв к немедленному и полному осуществлению учения в жизни, к воплощению идеала, к коренному изменению во всех отношениях как своей, так и общей жизни.

Стоит прочесть, например, пламенную статью-воззвание Л. Н. «О переписи» (1882), чтобы понять, как мог он в то время воспламениться идеей немедленного осуществления такого плана, который впоследствии вызвал бы у него лишь улыбку уверенности в том, что напрасный труд — мечтать о таких вещах...

Толстой хотел воспользоваться происходившей в то время в Москве переписью населения, чтобы войти в сношение с беднейшим населением и таким образом «устранить величайшее зло разобщения между нами и нищими и установить общение и дело исправления зла, несчастий, нищеты и невежества», или, как он еще выражался в своей статье, «к переписи присоединить дело любовного общения богатых, досужных и просвещенных с нищими, задавленными и темными». Л. Н. казалось, — как он после рассказывал в сочинении «Так что же нам делать» (1886), — что ему удастся вызвать в богатых людях сочувствие к городской нищете, найти нужных людей, собрать деньги, узнать все подробности нужды несчастных, организовать постоянную помощь им деньгами, работой, высылкой из Москвы в лучшие условия, помещением детей и стариков в приюты, удастся со-



здать невозможность зарождения новой нищеты и нового несчастья, наконец — уничтожить совсем бедность в городе и т. п.

«Почему не думать, — писал Л. Н. в статье «О переписи», прочтенной им, между прочим, и в заседании Московской Городской Думы, — почему не думать что когда-да-нибудь люди проснутся и поймут, что все остальное есть соблазн, а это одно — дело жизни? И почему же это «когда то» не будет теперь, и не будет теперь и в Москве? ... Пускай механики придумывают машину, как приподнять тяжесть, давящую нас — это хорошее дело; но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски налегнем народом, — не поднимем ли. Дружней, братцы, разом».

Л. Н.—чу, одушевленному новыми альтруистическими побуждениями, хотелось и казалось вполне достижимым добиться немедленного наступления Царства Божия на земле, и именно теперь, и почему бы не в Москве, где он жил.

Но, как и следовало ожидать, грандиозный план Толстого совершенно не удался. «Как только слушатели понимали, в чем дело», — рассказывал после Л. Н. в «Так что же нам делать», — «им становилось как будто неловко и немножко совестно. Им было как будто совестно и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости... — Ах, да. Разумеется... Мысль Ваша прекрасная... но... у нас вообще так равнодушны, что едва ли можно рассчитывать на большой успех»... Светские знакомые Л. Н.—ча, которых он думал привлечь к делу, оделись для участия в переписи в какие то особенные охотничьи курточки и высокие сапоги и смот-

рели на затею оригинальничавшего графа с точки зрения милого, невинного развлечения.

Пламень Л. Н. не нашел пищи для себя в их пустых сердцах. Надо было сначала наполнить эти сердца горючим материалом, создать внутреннюю почву для посева, возродить человека в городских пустомелях. Но ведь этого не было сделано, и вот прекрасное зерно увяло на каменистой почве, не принесли плода.

В воззрениях и в интересах Л. Н. Толстого в 80 г. г., вообще, играет большую роль элемент социологический, в противовес элементу чисто религиозному. Возможность немедленного переустройства общества и социальных отношений, на почве нового религиозного восприятия жизни, не перестает исключительным образом занимать Толстого. Он знакомится по рукописи с сочинением крестьянина-писателя Т. М. Бондарева «Трудолюбие или торжество земледельца» и, вместе с автором, ругает за земельный труд, как за единственную, безусловно обязательную форму труда для каждого человека. В «Так что же нам делать», он, с опасностью впасть в узкий догматизм, пытается даже дать точную схему распределения занятий на день для нормально живущего и трудящегося человека: я говорю о пресловутых «четырех упряжках», давших в свое время не мало пищи для полемики с Толстым недоброжелательно отнесившимся к нему критикам.

Наконец, и в личной жизни, начиная с 80-х г. г., Л. Н. пытается осуществлять принципы труда и опрощения. Блуза, которую он любил всегда, делается его несменяемым костюмом. В Хамовническом доме в Москве, а затем и в Ясной Поляне, Л. Н. облюбовывает



для себя самые скромные комнаты. В Ясной Поляне он занимается земельным трудом и личной помощью крестьянам (постройка избы вдове Анисье Копыловой), а в Москве — сапожным ремеслом, пилкой дров с мужиками на Воробьевых Горах и т. д. Он отстает от куренья, от мяса, от спиртных напитков. Светская, барская жизнь семьи, не пошедшей за ним, делается ему постылой, и он серьезно помышляет об уходе из дому, с тем, чтобы поселиться в деревне, среди трудового народа...

Л. Н. глубоко скорбит, что не может выполнить всех требований идеала в своей жизни, но вместе с тем этот идеал кажется ему вполне осуществимым «на деле», во внешней жизни. Он испытывает глубокое душевное раздвоение именно от сознания противоречия между признанием выполнимости и непреложности идеала и вынужденным отступлением от него в действительной жизни. Л. Н. мучился сам от сознания этого противоречия и не мог тогда же не видеть, что оно бросается в глаза и его окружающим. И в первое время он как будто не имел, не находил выхода из этого противоречия, загонявшего его в тупик, и, в результате, не мог не поддаваться состоянию некоторого внутреннего смятения. Именно этим состоянием какого то смятения души проникнуто известное письмо его к Энгельгардту (1882), где он с великой болью душевной взывает о помощи к тем, кто упрекает его во внешней непоследовательности. Письмо к Энгельгардту — это крик души. Толстой, видимо, сам почувствовал, что не все благополучно в его положении и в его собственном понимании своего пути, но, ни минуты не сомневаясь в правильности общего, взятого им направления, он, с одной стороны, не желает и не может отречься от этого направления,

а с другой — решительно не видит средства, как исправить дело.

«Если вы хотите быть христианином, то надо исполнять эти заповеди, а не хотите их исполнять, то не толкуйте о христианстве вне исполнения этих заповедей. Но, говорят мне, — пишет Л. Н. — если вы находите, что вне исполнения христианского учения нет разумной жизни, а вы любите эту разумную жизнь, отчего вы не исполняете заповедей? Я отвечаю, что виноват и гадок и достоин презрения за то, что не исполняю. Но при этом не столько в оправдание, сколько в объяснение непоследовательности своей говорю: посмотрите на мою жизнь, прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнять. Я не исполнил  $\frac{1}{1000}$ , это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Научите меня, как выпутаться из сети соблазнов, охвативших меня, помогите мне, и я исполню; но и без помощи я хочу и надеюсь исполнить.

Обвиняйте меня, я сам это делаю, но обвиняйте меня, но не тот путь, по которому я иду и который указываю тем, кто спрашивает меня, где, по моему мнению, дорога. Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяный, шатаюсь из стороны в сторону, то неужели от этого неверен путь, по которому я иду? Если неверен — покажите мне другой; если я сбиваюсь и шатаюсь, помогите мне, поддержите меня на настоящем пути, как я готов поддержать вас, а не сбивайте, не радуйтесь тому, что я сбился».

Все содержание этого письма вертится вокруг вопроса об исполнении учения. Толстой считает себя отставшим в чем то от исполнения учения, но в то же время, читая письмо, вы чувствуете, что он весь охвачен безумной, фанатической верой в то, что он



должен и что он может исполнить это учение во всей его полноте.

Как явление совершенно новое в русской жизни, проповедь Л. Н. Толстого привлекла к себе в 80-х г. г. всеобщее внимание, причем далеко не все могли одолеть в своем понимании те внутренние мотивы, которые руководствовали Толстого в его попытках построения новой веры и новой жизни. Большинство не только посторонних людей, но и «последователей», поняло чисто внешним образом стремление Л. Н. на землю, к труду, к «опрощению». Создался особый разряд людей, носивших русские рубахи и длинные бороды, бравшихся неумелыми руками за соху или за лопату, проповедовавших «опрощение» и непротивление, защищавших вегетарианство и очень нетерпимо относившихся к церкви, к обряду, к городской культуре и к курению табаку. Людей этих не раз описывали русские литераторы в романах и в статьях, рассматривая их всегда под углом насмешливого и снисходительно-презрительного отношения, как жалких теоретиков, как своего рода недоносков, «непротивленнейшей», уродливых мечтателей, у которых (как и у их учителя, — подразумевалось или объяснялось при этом) на каждом шагу «слово» расходится с «делом».

Тип «толстовца», в ходячем представлении людей, почти никогда не читавших религиозно-философских статей Л. Н. Толстого и почти всегда судивших о Толстом и его учении только по наслышке, мало по малу утвердился и в литературе, и в обществе.

Надо сознаться, что многое в представлении об этом типе было и верно. Другой вопрос, насколько виновен был сам Толстой — и в том, что вообразилось о «толстовцах», и в том, что было в них, действитель-

но, отрицательного, т. е. узкого, сектантского и фанатического. Близкое знакомство с духовным обликом великого основателя нового мировоззрения исключает как кажется, всякую возможность обличения его в сектантстве и в узости, но я все же думаю, что тот естественный, быть может (под влиянием первых впечатлений и настроений духовного обращения), уклон в сторону прямолинейных требований внешнего воплощения идеала, какой так или иначе сказался в самом Л. Н. в 80-х г. г., все же не мог остаться без влияния и на развитие учения среди первых последователей.

Судя по воспоминаниям близких Л. Н., — например, дочери его Т. Л. Сухотиной, с которой я нарочно говорил об этом в Ясной Поляне уже в 1921 г., когда она могла судить о прошлом вполне объективно, — Л. Н. в периоде 80-х г. г. хотя и подсмеивался сам над узкими «толстовцами», лишь внешним образом подходившими к его мировоззрению, но все же вокруг него господствовал такой дух, что, например, дочери и единомышленницы его Татьяна Львовна и Мария Львовна были вполне убеждены, что не пройдет и десятка лет, как войны, мясоедение, водка и проч. пороки, губящие человечество, исчезнут с лица земли под влиянием все распространяющейся проповеди Л. Н. Толстого. Сам Л. Н., по воспоминаниям Т. Л., в то время отличался большой нетерпимостью к инакомыслящим, в частности к православным, и для него самая принадлежность к обличаемому или отрицаемому им классу была уже как бы препятствием для того, чтобы принужденно и свободно обратиться с таким человеком. Поц, светская женщина — это было уж как бы клеймо, которое мешало суровому пророку видеть в человеке только брата. Не было настоя-



щего отношения равенства к людям по их духовному достоинству.

Для меня лично эти воспоминания Т. Л.—ны, насколько ни в ее, ни в моих глазах не роняющие Л. Н. — страшно важны: важны постольку, поскольку они позволяют точно и ясно разобрать все ступени последовательной духовной эволюции Л. Н. Толстого.

Впоследствии все те черты, о которых говорит Т. Л., были изжиты Л. Н., но, во всяком случае, то, что могло быть лишь временным явлением у самого основателя учения, — в грубом понимании невежественного в духовных вопросах общества и даже части наиболее поверхностных или незрелых последователей, приняло уже гораздо более серьезную форму коренной, грубой ошибки.

В конце концов, к «толстовству», — учению, вытекшему из самых идеальных, возвышенных требований и побуждений, стали прилагать эпитеты узко материального, грубо-утилитаристического миропонимания, а это уже совсем не верно. Между тем, взгляд этот успел укорениться в значительной части образованного общества и, например, известный композитор Лядов, человек своеобразный и много думавший о Толстом, высказал о нем не одну только свою мысль, но мысль очень многих: «Он — человек «живота», а не духа. И Бог, и искусство для него должны быть только полезны». Мы знаем теперь, что подобный взгляд основан был на непонимании, на недоразумении, но, значит, было же что то в Толстом и в «толстовстве», что питало это непонимание и недоразумение. Ведь если бы это было только непонимание и высоты «толстовского подвига» — непонимание самого Толстого-пахаря и последователей его на разных ступенях «опрощения», — так сказать, злост-

ное непонимание, — то почему же подвиг Христа и сущность христианского, хотя бы даже церковно-христианского мировоззрения, никем не были и не могли быть истолкованы, как основанные на утилитаристической и материалистической подкладке? Напротив, тут возможны были, скорее, упреки в излишнем идеализме, в аскетизме, полной отрешенности от житейских интересов. А ведь, если разобраться, то окажется, что внутреннее зерно, из которого выросли религии Христа и Толстого, абсолютно одно и то же. Очевидно, в первоначальном фазисе «толстовства» было что-то, что могло давать пищу и повод к упрекам по адресу нового жизнепонимания именно в духе лядовского изречения.

Вот этот то «утилитаризм», ложный или действительный, этот догматизм, позволявший смотреть на «толстовство», как на вполне определившееся и замкнутое в своем узком русле сектантское течение, это стремление к внешнему воплощению идеала во что бы то ни стало, — в дальнейшем развитии мировоззрения Л. Н. Толстого совершенно отсутствуют, и не только отсутствуют, но мы на каждом шагу слышим убедительно-предостерегающий против них, проникновенно глубокий голос Толстого. Точно также и историческое «толстовство» меняет свои формы и задания.

Что такое утверждение не голословно и что, действительно, мировоззрение Л. Н. эволюционировало уже за время от написания им (в начале 80-х г.г.) первых религиозно-философских произведений, а главное, что Толстой сам это сознавал, — показывает хотя бы следующее мѣсто в его письме к В. В. Рахманову, написанном в марте 1891 г.: «Не думайте, что я защищаю прежнюю точку зрения «В чем



моя вера». Я не только не защищаю, но радуюсь тому, что вы пережили ее. Вступив на новый путь, нельзя не обрадоваться тому, что первое увидал впереди себя, и простительно принять то, что на начале дороги, за цель пути. Но, подойдя ближе и только благодаря тому, что видел сначала, нельзя не радоваться, что увидал впереди бесконечную, светлую даль».

В чем же заключается последняя и наиболее замечательная фаза духовной эволюции Толстого, — фаза, которая и составляет теперь в наших глазах его подлинную, духовную физиономию?

## V.

Труднее всего — точно обозначить те мотивы, которые служили стимулом для Л. Н. Толстого в этом новом поступательном движении его духовного «я», — хотя, в сущности, мы не можем не видеть, не чувствовать этих мотивов достаточно ясно.

Как и передавала Татьяна Львовна, Л. Н. сам «подсмеивался» над «толстовцами», которые слишком узко и буквально понимали его призывы к внешнему «опрощению» и к коренной внешней ломке жизни. Но, помимо шуток, Толстой не мог не видеть того, что когда такая ломка происходила без достаточной внутренней подготовки, то она отражалась зачастую губительно на этих неопитах провозглашенного им учения. В самом деле, были случаи, когда разочаровавшиеся в «новой жизни» наиболее последовательные, — по крайней мере, с внешней стороны, — из «толстовцев» — уходили от захватившего было их учения, иногда возвращались в лоно православия, иногда пускались слепо и наудачу в житейское море, ударяясь при этом, как говорится, «во все тяжкие», или же, наоборот, не будучи в силах вынести взятый на себя слишком тяжелый крест духовного подвига, кончали с собой (как, например,



бывший паж и аристократ Леонтьев в Полтаве). Л. Н. не мог не чувствовать на себе ответственности за судьбу этих лиц и за то влияние, которое производила его проповедь. Он и позже, в 1908 г., говорил об этом, при случайном напоминании ему об одном бывшем «толстовце»:

«Всегда страшно бывает за таких людей, которые сразу так горячо берутся: и имение роздал... А после, если у него не хватит сил, он не будет обвинять себя, а будет обвинять то учение, которое он хотел исполнять: будет говорить, что оно неисполнимо...» \*)

И возможно, что именно вследствие сознания этой ответственности, он сделался чрезвычайно осторожным в своих призывах к внешнему изменению жизни, настаивая, с течением времени, все больше и больше на необходимости внутренней, духовной подготовки, духовной работы над собой, внутреннего самосовершенствования, как основы всякого твердого и действительного движения вперед.

То же самое должен был подсказать Л. Н-чу и его собственный духовный опыт, многаяжды проверенный им как на самом себе, так и на других религиозных мыслителях, писателях и деятелях, в сочинениях и жизнеописаниях которых он углублялся все более и более. Первый жар, охвативший Толстого после новых откровений религии, когда он, по его словам, «был ослеплен» тем светом истины, который открылся ему, и когда казалось так легко и просто, и радостно передать свою веру другим, захватить ею всех людей и обновить лицо мира, — прошел. На пу-

\*) «Записки» Н. Н. Гусева, 18 сентября 1908.

ти проповедника новой веры и глашатая всеобщей реформации обильным цветом выросли тернии и колючки, в виде непонимания, насмешек со стороны близких и далеких, глумления, оскорблений, прямой ненависти и т. д., и т. д. Походка нового борца за истину и благо людское невольно сделалась более осмотрительной. Он проверял малейшее свое движение и хотя, проверяя, приходил лишь ко все большему и большему утверждению в открывшихся ему истинах и убеждениях, — но все же остерегался впасть впросак, в ошибку на каждом шагу.

И это было великим уроком, великим испытанием для Толстого. Учась презирать мнение других, хотя и извлекая из него все нужное для себя и для своего внутреннего роста («радуйся, когда тебя ругают», — говорил он), он в то же время постоянно прислушивался к своему внутреннему голосу — судьбе более чуткому, чем все земные судьи, и более строгому и нелюбимому, чем они. Необходимость прежде всего внутренней, духовной работы над собой и над обузданием своих страстей, необходимость более высокой оценки внутреннего, нравственного усилия в деле духовного, а значит, и внешнего движения вперед, — выяснялась для Л. Н. все с большей и большей очевидностью и несомненностью. Можно сказать даже, что он всегда понимал их значение (какая же могла быть в нем религиозная жизнь, без понимания их значения?), но, чем дальше, тем больше в своем накапливающемся религиозном опыте, он стал понимать всю и сключительность их значения, — исключительность важности одного такого духовного момента, перед которым бледнеют все внешние дела.

Уже в 1893 г., в статье «К вопросу о свободе во-



ли», Л. Н. с полной ясностью выразил то, о чем мы говорим:

«По учению Христа, человек, который видит смысл жизни в той области, в которой она не свободна, — в области последствий, т. е. поступков, — не имеет истинной жизни. Истинную жизнь, по христианскому учению, имеет только тот, кто перенес свою жизнь в ту область, в которой она свободна, — в область причин, т. е. познания и признания открывающейся истины, исповедания ее и потому неизбежно следующего (как воз за лошадь) исполнения ее... Царство Божие усилием берется, и только делающие усилие восхищают его и это-то усилие, которым берется Царство и которое должен и может сделать каждый человек, состоит не в каких либо внешних делах, а только в признании и исповедании истины каждым отдельным человеком. Пренебрегая сущностью истинной жизни, состоящей в испытании и исповедании истины и напрягая свои усилия для улучшения своей жизни на внешние поступки, люди подобны людям на пароходе, которые для того, чтобы дойти до цели, заглушили бы паровик, мешающий им разместить гребцов, и в бурю старались бы, вместо того, чтобы идти готовым уже паром, грести не достигающими до воды веслами . . . Стоит людям только понять это: перестать заботиться о делах внешних и общих, в которых они несвободны, а всю ту энергию, которую они употребляют на внешние дела, употребить на то, в чем они свободны, — на признание и исповедание той истины, которая стоит перед ними, на освобождение себя и людей от лжи и лицемерия, скрывающих истину, — для того, чтобы не только каждый отдельный человек достиг высшего доступного ему блага, но чтобы

осуществилась хоть та первая ступень Царства Божия, к которой уже готовы люди по своему сознанию».

Сообразно с этим, Л. Н. устанавливает твердый взгляд на христианство и на религию вообще не как на кодекс внешних правил и предписаний, имеющих в виду достижение определенных внешних целей, а как на мирозерцание, просвещающее и обновляющее прежде всего внутренний, духовный строй человека и сообщающее его жизни высший, неуничтожимый, радостный смысл.

Он подробно говорит об этом в письме к И. Ф. Наживину от 5 марта 1905 г.:

«Я думаю, что вы ошибаетесь, полагая, что христианство, т. е. религия, имеет какие либо внешние цели и что о ней можно судить по мере достижения или недостижения этих представляющихся нам общих целей. Христианство, истинное христианство, по моему мнению, тем и отличается от религий, которые можно назвать общественными, как католичество, православие, магометанство, я думаю даже конфуцианство, что оно обращается к душе каждого отдельного человека, для каждого отдельного человека разрешает его вопрос жизни, указывает ему его назначение, состоящее в исполнении воли Бога в слиянии с ней своей воли, в служении для Бога Богу и людям, и тем дает ему спокойствие и благо.

Правда, что одним из невольных подтверждений христианской истины и как бы маленькое поощрение к ней состоит в том, что исполнение воли Бога, — лучшее, что может сделать для себя человек, — вместе с тем и осуществляет Царство Божие (Царство Божие внутри вас есть), но сущность христианства и то, что привлекает к нему и дает истинное благо



Не в этом внешнем осуществлении Царства Божия, которое никогда вполне не осуществится, к которому человечество всегда будет приближаться (как ассимптота кривой), а в том, что жизнь человека в этом мире, короткий срок этой жизни получает вечный радостный смысл».

Из письма к Рахманову мы уже видели, что тут была наличность движения, наличность эволюции — в человеке в сущности уже сложившемся в определенный религиозный тип. Из дальнейших выдержек из писаний Толстого мы яснее поймем, какая собственно ступень была им еще тут пройдена, в чем он, как религиозный мыслитель, поднялся еще выше в своем внутреннем росте, заглянул еще глубже в самую сущность религиозной истины.

В одном и том же году, именно в 1902 Толстой сам дважды сделал попытку набросать те ступени пройденной им духовной эволюции, уже после самостоятельного его приобщения к христианству (т. е. с 80-х гг.), о которых я собираюсь здесь говорить и точное выяснение которых считаю чрезвычайно важным для правильного понимания мировоззрения Толстого.

В первый раз Л. Н. обозначает пройденные им ступени духовного развития в своем дневнике 1902 г. Вот эти ступени:

- 1) Восторг познания истины,
  - 2) Желание и надежда сейчас осуществить ее,
  - 3) Разочарование и возможности осуществить ее в мире, надежда осуществить ее в своей жизни.
  - 4) Разочарование и в этом, и отчаяние.
  - 5) Все для души, не заботясь о последствиях».
- Вторично Л. Н. перечисляет те же ступени, но с некоторыми вариациями (именно — с введе-

нием после «разочарования» «компромиссов») в письме от 13 декабря 1902 г. к своему единомышленнику болгарину Дм. Шопову.

Вот что писал ему Толстой:

«Мне очень приятно видеть ваш энтузиазм и живую надежду на скорое торжество истины, но, пройдя уже тот путь, который вы проходите, мне хочется сказать вам о тех опасностях, которые встречаются на этом пути. Я, по крайней мере, с тех пор, как родился к новой истинной жизни, перешел следующие ступени:

- 1) Восторг познания жизни.
  - 2) Желание и надежда осуществить ее сейчас.
  - 3) Разочарование в возможности быстрого осуществления истины во внешнем мире и надежда осуществить ее в себе, в своей жизни.
  - 4) Разочарование в возможности осуществления ее даже в своей жизни.
  - 5) Попытки примирения истины с мирской жизнью, компромиссы.
  - 6) Отвращение перед компромиссами и отчаяние или хотя сомнение в истинности учения.
  - и 7) наконец, сознание того, что ты не призван изменить мир во имя истины, не можешь даже в своей жизни осуществить истину, как бы тебе хотелось, но можешь, не заботясь о том, что делается в мире (это сделает Бог), не заботясь и о том, насколько ты представляешься последовательным людям, можешь по мере своих сил перед Богом осуществлять истину, т. е. исполнить Его волю.
- И это одно дает полное спокойствие. Ступени эти, мне кажется, проходит каждый человек, возрождаясь к жизни. И опасности на каждой из этих ступеней вы увидите сами».



То, о чем пишет Л. Н., находится как раз в соответствии с тем, о чем мы говорили.

Таким образом, следуя за ходом мысли Л. Н. Толстого, мы могли бы для большей отчетливости представить себе сущность последнего фазиса его духовного развития по следующей схеме:

- 1) Идеал недостижим;
- 2) Свобода — только в области духовной;
- 3) Всякое движение и всякий прогресс в материальной области, в области внешних изменений основателен и законен только в том случае, когда он является результатом изменений во внутренней, духовной области;
- 4) Внешние поступки сами по себе безразличны, важно то духовное состояние, которое их порождает.

Беря самое широкое и общее определение, можно сказать, что Толстой пришел к признанию, к утверждению (если можно только допустить такое выражение) *религиозного субъективизма*. Он поставил центром бытия духовную жизнь человеческой личности в ее непрерывающей связи с Богом, как высшем духовном начале, — другими словами: *человека*, в высшем и лучшем значении этого слова.

Все дальнейшее религиозное — и даже, говоря общее, духовное — творчество Толстого заключается именно в развитии тех основных точек зрения, которые мы здесь наметили. Вне этих точек зрения Толстой, как религиозный тип, как мыслитель, как основатель нового учения, не постигается.

Этот последний, вполне обоснованный Толстым

фазис его духовной эволюции и представляет по всей справедливости, его подлинную духовную физиономию, с которой он предстает перед историей мысли — для нас, и перед Богом — для своей души.

Поэтому нельзя не считать достаточно важным и необходимым подробное и точное уяснение религиозно-нравственного жизнеописания Л. Н. Толстого, как оно сложилось у него в последние годы его жизни и работы его мысли. Такое уяснение одно только может устранить тысячи кривотолков и пустых пересудов о Толстом, как мыслителе, и разбить те ложные суждения о нем, которые приходится встречать на каждом шагу.

Особенно же важно такое уяснение для тех, кто ближе подходит внутренне к работе мысли Л. Н., кто чувствует в нем силу, хотя и более могучую, но родственную, и стремится слиться с ней, понять ее. Наверное, возможность избежать при этом неправильного толкования Толстого спасет многих из тех, кто приходит к нему за живой водой, от ненужных ошибок и разочарований.

Тут на помощь нам должна прийти, между прочим, та громадная переписка, которую вел Толстой. В ней охотнее всего, простосердечно и откровенно, обращаясь душа в душу к своим корреспондентам, высказывает он то, что было самого дорогого, самого глубокого и самого задушевного в его сокровенных убеждениях. По письменным ответам Л. Н. своим корреспондентам, на протяжении от 90-х г.г. и до 1910 г., особенно удобно проследить, как постепенно складывалось у него то духовное понимание жизни, с которым он и ушел в могилу.

Наиболее полно и последовательно Л. Н. Тол-



стой выразил это жизнепонимание в своем последнем большом труде, составленном в последний год его жизни, под названием «Путь Жизни». Нам придется остановиться и на характеристике этого сочинения, представляющего к тому же, единственную попытку систематического изложения Толстым своего учения.

## VI.

Насколько серьезное значение придавал Л. Н. правильному пониманию открывшегося ему, духовно-нравственного по преимуществу мировоззрения, — видно, например, из следующих слов его в письме к Е. И. Попову, еще от 20 июня 1894 г.: «думаю постоянно, хотя и не пишу теперь, об изложении, главное, в самом учении жизни, в самой сущности его, и очень рад, что занялся этим: все яснее и яснее мне становится то, что только единое на потребу — одно нужно: блюсти в себе свое божественное я и растить его с тем, чтобы перенести его в другую жизнь возвращенным, — след же, который он оставил в этой жизни, есть только неизбежное последствие этого возвращения, совершенствования. — Я боюсь, что это покажется словами только: для меня это дело, — не только дело, но и единственная связь моя с жизнью».

Убеждение в недостижимости внешнего идеала, приобретающее громадное значение в мировоззрении Толстого, в то время уже ясно сложилось в душе Л. Н.-ча. Так, в письме к В-ву от 6 февраля 1890 г. он пишет: «Каждый из нас, познав истину, застаёт себя в известном, далеком от истины, мирском положении, в связях, узлами завязанных и мертвыми пет-



лями, нашими грехами, затянутых связях с людьми мира. И человеку, познавшему истину, прежде всего представляется, что главное, что он должен делать, состоит в том, чтобы сейчас же, во что бы то ни стало, выйти из тех условий, в которых он находится и поставить себя в такие условия, находясь в которых было бы ясно видно, что я живу по закону Христа, и жить в этих условиях, показывая людям пример истинной христианской жизни. Но это не так: требование совести не состоит в том, чтобы быть в том или другом положении, а в том, чтобы жить, не нарушая любви к Богу и ближнему. Христианин всегда будет стремиться к чистой от греха жизни, всегда изберет такую жизнь, если для достижения ее не будут требоваться от него дела, разрушающие любовь; но дело в том, что никогда человек не бывает так мало связан своими и чужими грехами с прошлым, чтобы быть в состоянии, не нарушая любви к Богу и ближнему, сразу вступить в такое внешнее положение».

Мы знаем, что этот взгляд остался у Л. Н. непоколебимым до конца. В 1910 г. он писал М. Н. Яковлевой (в письме от 18 мая): «Истинный идеал религии, истинная религия, — он же идеал христианства, тем и велик, что он так велик, что человек в теле никогда не может достигнуть его, а между тем может всегда, во всех условиях, постепенно приближаться к нему... Отчаяние религиозных людей в том, что они не могут вполне осуществить в своей жизни того идеала, который представляется им, происходит от заблуждения о том, что требования учения не в условиях приближения к идеалу, а в полном осуществлении его в своей жизни».

Отсюда ясно, что, собственно, никакое внешнее

положение не может быть полным разрешением стремлений человека к совершенствованию. Совершен только один Бог. Важно лишь, чтобы человек не терял из виду тех внутренних побуждений, которые вызывают в нем стремление к совершенствованию.

«По моему мнению, — пишет Л. Н.-ч. Л. Тонилу, 21 января 1909 г. — жизнь человека, желающего жить по учению Христа, никак не может проявляться в какомнибудь известном положении в жизни, как, например, жизнь в общине, жизнь в рабочих у крестьянина, жизнь пустынника, или какой бы то ни было форме жизни. Все дело в том духовном состоянии, в котором находится человек, и в той работе, которую он производит над собой для того чтобы осуществить в жизни ту истину, ради которой он живет... Даже, что касается одной внешней, имущественной стороны, хорошо вспомнить слова Иоанна Крестителя о том, чтобы у кого две одежды, тот отдал бы тому, у кого нет (я бы прибавил, что у кого одна одежда, отдай ее тому, кто более зябок). По этим словам можно ясно видеть, что конца самопожертвованию не может быть никакого... И потому оценка достоинства внешних поступков не имеет никакого значения; и даже никак нельзя сказать, что та краюха хлеба, которую разделил с нищим такой же нищий, есть большее добро, чем тот миллион, который отдал богач на какоенибудь дело из своих ста миллионов. Все дело во внутреннем, духовном усилии, а про него знает только Бог». (Подчеркнуто мною. В. Б.).

Эту тему, о том, что внешняя жизнь не может



служить действительным и полным выражением высших духовных требований человека, Л. Н. с особенным вниманием и проникновенностью развивает в целом ряде глубоких и прекрасных писем, идущих у него, видимо, от самой души.

Так, 22 марта 1890 г. он пишет И. Н. Г.: «Для того, чтобы жить, надо непременно идти вперед в таком деле, в котором нет конца и в совершении которого нет помехи. И такое дело есть только одно: совершенствование любви. Работа же, известное положение есть только в известном случае следствие любви... Опасное дело и самое обычное. Молитва — следствие стремления, обращение к Богу, самое законное действие, — ставится целью и является обрядностью, убивающая нравственную жизнь; милосердие, помощь ближнему, как следствие любви к Богу, самое законное действие, — становится целью — и является филантропией.

Бедность, нищета, отсутствие собственности, как следствие непротивления насилиям и отречение от обеспечения, — самое законное состояние, — ставится условием, целью — и является формальная бедность буддистов, монахов. То же и с работой. Если она — следствие отречения от обеспеченности и желания служить другим — становится целью, — она непременно приведет к заблуждению.

Главное же, главное, душа в душу говорю вам, милый друг, единственная цель, безконечная, всегда достижимая и достойная сил, данных нам, это увеличение любви. Увеличение же любви достигается одним определенным условием: очищением своей души от всего личного, похотливого, враждебного. «Душа человека — христианка», т. е. ей не только свойственна, но сущность ее есть любовь, и потому, чтоб

увеличить, усилить любовь, надо только очищать, шлифовать ее, как стекло, собирающее лучи. Насколько будет шлифованнее и чище, настолько будет сильнее пропускать и изливать свет и тепло любви. И этому делу нет конца, нет препятствий, нет пределов радости, и нет ничего доброго, того, что должен человек сделать, что бы не входило частью в это дело, т. е. в дело очищения души, и, вследствие того, увеличения любви».

В цитированном уже письме к В—ву, от 6 февраля 1890 г., Л. Н. пишет: «Дело христианина не в какомнибудь известном положении, в положении земледельца и т. п., а в исполнении воли Бога. Воля же Бога в том, чтобы на все требования жизни отвечать так, как того требует любовь к Богу и людям, и потому определять близость или отдаленность себя и других от Христа никак нельзя по тому положению, в котором находится человек и по тем поступкам, которые он совершает».

Толстого, самолично взявшегося за соху после происшедшего в нем душевного перелома и стремившегося разрешить для себя самого то противоречие между христианскими убеждениями и барской жизнью, в котором он находился, вероятно, особенно часто спрашивали о том, не разрешает ли, по его мнению, земельный труд всех вопросов жизни и не является ли он безусловно обязательным для каждого человека во всех положениях, и Л. Н. отвечал на это так:

«Физический труд — разрешение вопроса о жизни, — писал он Е. И. Попову в апреле 1889 г., — разумеется, что это нелепость, разумеется, что не род труда, не самый труд даже, а то, во имя чего трудиться, разрешает вопрос. Вы говорите: во имя со-



страдания, любви. Но и тут сами себе возражаете и видите возможность такого положения, при котором некого жалеть, любить, не на кого трудиться, или есть кого жалеть и любить и нельзя трудиться. Стало быть, может быть положение, в котором жизнь бессмысленна и есть беспечное страдание, от которого разумнее избавиться, как и говорили стоики. Все это совершенно справедливо, но только при определении смысла жизни в труде во имя любви. Но это не полное и не Христово определение. Христово определение есть исполнение воли Отца; исполнение этой воли при условии чистоты, смирения и любви.

В чем воля? На этот вопрос иногда, когда человек ясно сознает ту роль, которую он играет в содействии установлению Царства Божия на земле, есть прямой и несомненный ответ в душе; иногда, когда нет такого ответа, стоит только соблюдать условие чистоты, смирения и любви (т. е. не предаваться похотям всякого рода, не искать одобрения людей и не иметь враждебного чувства ни к кому) — и сама жизнь, сама плотская жизнь в труде или вынужденной праздности будет исполнением воли Бога.

И. В. Фейнерману Л. Н. пишет о том же в марте 1891 г.: «Принципом даже не может быть то, чтобы работать хлебную работу, как говорит Бондарев. Принцип наш один, общий, основной — любовь не словом только и языком, а делом и истинною, т. е. тратую, жертвою своей жизнью для Бога и ближнего».

Ссылка на Бондарева здесь приобретает особенное значение, потому что всего только три или четыре года тому назад (именно в 1888 г.) Л. Н. восторженно и без оговорок приветствовал статью Т. Н. Бондарева «Трудолюбие или Торжество Земледельца», где

говорилось: «Хлебный труд есть священная обязанность для всякого и каждого и не должно принимать во внимание никаких отговорок. Мы должны каждый для себя работать хлеб своими руками, несмотря ни на какое богатство или достоинство, кроме уважительных причин, как то: болезнь, дряхлая старость, отсутствие, не терпящее никаких обстоятельств и т. п.». Сам Л. Н. писал тогда в предисловии к статье Бондарева: «Участие всех в хлебном труде и признание его головой всяких дел людских, делает то, что сделал бы человек с телегою, которую глухие люди везли бы вверх колесами, когда бы он перевернул ее и поставил на колеса... Такова вполне разделяемая мною мысль Бондарева».

Некоторые противоречия между письмами, написанными в 1889 и в 1891 г. г., и предисловием к статье Бондарева, написанным незадолго перед тем, объясняется, повидимому, тем, что, несмотря на исключительное увлечение Л. Н. идеями мужика-писателя о труде, он, в глубине души не мог вполне встать на чисто внешнюю точку зрения Бондарева, видящего в хлебном труде основной закон жизни, начало всякого добра и избавление от всех зол, как для человека, так и для общества. И вполне естественно, что Л. Н., с его широким и всеобъемлющим умом, не мог вскоре же не сделать нескольких «нотабене» (примечаний) к своей первой, горячей оценке бондаревской статьи, и такими «нотабене», значительно ограничивающими его прежний взгляд являются написанные уже в самом конце 80 и в начале 90-х гг. письма Попову и Фейнерману.

Позже, и особенно в последние годы жизни, Л. Н. не раз подчеркивал, что земельный труд ни в коем случае не может считаться по принципу обя-



зательным для всех людей. В земельном труде, как и вообще во всяком труде самом по себе, ещё нет ничего такого, что бы основным образом разрешало для человека все вопросы жизни. Разумеется, здоровый человек, если перед ним не стоят какие либо исключительные задачи «в содействии установления Царства Божия на земле», всегда предпочтет трудовой образ жизни не трудовому, но в то же время не нужно забывать, что можно, и ведя трудовой образ жизни, быть великим грешником, и, наоборот, стоя почему либо в стороне от физического труда, успешно бороться с грехами и соблазнами, служа примером и другим людям.

Это убеждение, Л. Н. с необыкновенной яркостью выразил не задолго до смерти в двух своих письмах близкому своему знакомому и во многом единомышленнику, крестьянину Тульской губ. М. П. Новикову, жаловавшемуся на то, что когда он проводит свою жизнь в труде, он все же нуждается материально и «желудок его наполнен непитательной пищей», а люди праздные, бары — сыты и «проезжают мимо его на сытых лошадях, а собака их приказчик брешет на народ» и т. д. Толстой — в ужасе от тех чувств озлобления на богатых, скрытой зависти к ним и гордости за себя, как работающего на земле, — которые он находит в письме Новикова. Сначала, под влиянием невольного раздражения, он думает осудить Новикова, доказать ему его неправду, но потом, вникнув в те мотивы, которые могли руководить его корреспондентом-крестьянином, он испытывает к нему только глубокое сострадание, — но не за то положение, на которое жалуется сам Новиков, а за те «ужаснейшие, мучительнейшие чувства», которые тот должен при этом испытывать.

«Сострадаю и тем бесполезно-мучительным, — пишет Л. Н. Толстой (сентября 1907 г.), — и, главное, тому душевному состоянию и умственному извращению, при котором возможны и даже неизбежны эти ужасные чувства ненависти к людям-братьям и зависти к тем материальным преимуществам, которыми они случайно пользуются... Душевное же, приводящее вас к этому состоянию, чувство, которое и вызывает во мне сострадание к вам, это то полное неверие в духовную, т. е. истинную жизнь, которое вы много раз, как нечто очень вам дорогое, высказываете в вашем письме.

Вы несколько раз, как бы довольные своим открытием, как бы подсмеиваясь, как о деле решенном, говорите о неверности, глупости мысли о том, что «не хлебом одним сыт человек». А между тем именно оттого, что вы не верите в это, не верите в жизнь духовную, не верите в обязательность требований духовной жизни, не верите в Бога, от этого и ваши страдания, и ваши несчастья. Вы, между прочим, пишете, что вы испытываете некоторое неудобство оттого, что вы нововер. Я думаю, что вы не нововер, а вы невер. То, чтобы хоронить детей без услуг духовенства, не поститься, не ходить в церковь, не есть вера; у вас есть отрицание предрассудков старой веры, а нет веры. И в этом, в том, что вы не верите в духовное начало жизни и его требования, в этом ваше несчастье, а нисколько не в недостатке земли и в неправильности экономического устройства.

Если бы верили в это духовное начало жизни и в обязательность его требований, вы бы не считали, как вы это теперь считаете, первым и неизменным условием вашей жизни то, чтобы устраивать и поддерживать свое отдельное хозяйство на земле. Если



бы вы не верили в необходимость именно такой жизни, а верили бы в то, что жизнь ваша есть проявление в вашей ограниченной форме и в этом мире того внепространственного, вневременного начала всего, которое вы сознаете в себе, и что не только главное, но единственная, свойственная вам жизнь и деятельность есть стремление к единению со всем живущим, т. е. любовь, тогда бы не устраивали, как теперь, свою жизнь по составленной и излюбленной вами лично программе (хотя программа эта и хороша), но, исполняя волю Высшего Начала, предоставили бы судьбе, обстоятельствам поставить вас в те или иные условия. Может быть, исполняя высший закон любви ко всем, вы бы остались в любимых вами условиях, может быть пришлось бы вам совсем иначе устроить вашу жизнь, но как бы она ни устроилась во всех условиях вы бы тогда, исполняя высший закон любви, наверное, поступили бы наилучшим образом, и, любя, а не ненавидя людей, нашли бы истинное благо».

И ту же самую мысль, но в еще более подчеркнутой и категорической форме, не боясь быть уличенным в жестоком противоречии, выразил Л. Н. в другом письме к тому же М. П. Новикову, от 21 августа 1908 г.: «Если бы мне предоставлен был выбор из двух положений: хоть того, в котором я нахожусь теперь, т. е. жизни в развращающей и незаконной роскоши, хотя бы я и осуждал ее, как я и делаю, чему многие очень естественно не верят, или даже жизни человека, живущего в этой развращенной и развращающей среде богатых, каждым шагом жизни своей пользующихся трудами угнетенных и задавленных людей, и не чувствующего этого, и добродушно веселящегося в привычных ему условиях, — или жизни самого трудового человека, едящего хлеб своих тру-

дов и не только не пользующегося чужим, но отдающего свое в пользование другим, но вместе с тем исполненного зависти и ненависти, возбуждаемой в нем и частым общением с теми людьми, которые угнетают его, — я бы ни минуты не задумался избрать первое. *Хорошо быть эксплуатируемым, но не эксплуататором, это хорошо тогда, когда совершается это во имя покорности воле Бога и любви к людям; но когда это же совершается помимо покорности воле Бога, во имя ненависти к людям, удерживаемой только невозможностью приложить ее, то положение эксплуатируемого в тысячу раз хуже. Все дело не во внешних условиях, а в том духовном отношении к тем или иным условиям. Дороже всего любовное отношение ко всем, во всем, такое состояние, которое получается при любви к Богу \*).* Вот этого то состояния я желаю Вам».

Толстой выступает, вообще, против всякой частной цели в жизни человека, основывающего свою деятельность на религиозном законе. Цель может быть только одна — служение Богу, служение самосовершенствованием и увеличением в себе любви, насаждением тех корней, при которых только и возможен всякий дальнейший рост. Мысль эту он выразил в письме к Ф. А. Г-у, от 20 января 1902 г., — очевидно, в ответ на выраженное своим корреспондентом желание отдаться систематической борьбе с церковными суевериями, с «обманами веры».

«Дело христианина, — писал Л. Н., — посредством которого он достигает всех целей, в том числе и той, которая теперь у нас в России предстает ему, везде и всегда одно: разжигать свой огонь и светить

\*) Курсив мой В. Б.



им перед людьми. Обращение же всего внимания, всех, всех своих усилий на какуюнибудь одну частную цель, как, например, на жизнь трудами рук, на проповедь или как в данном случае, на борьбу с теми или иными обманами, есть всегда ошибка, подобная тому, что бы делал человек при наводнении, если бы вместо того, чтобы пускать воду из главного источника, или работать над плотиной, удерживающей всю воду, делал преграды в своей улице, не видя того, что вода с других сторон zalьет его... Это не значит того, чтобы не бороться с обманами (когда знаешь, что они величайшее зло, невольно будешь делать это), но бороться только тогда, когда борьба эта является следствием общего стремления к совершенствованию.

Еще сравнение: надо защитить дома от возможности пожарам сообщиться всем домам. Можно нарубить зеленых веток и натывать их между домами. И это будет, как будто, действительно на день, два, но можно посадить маленькие деревца, и, когда они укоренятся и вырастут, это будет действительно навсегда. Надо, чтобы в деятельности нашей были корни, а корни эти в нашей покорности воле Бога, в нашей личной жизни, посвященной совершенствованию и увеличению любви». (Подчеркнуто мною. В. Б.).

Совершенствование и увеличение любви, вот, что должен поставить истинно религиозный человек целью своих сознательных усилий. Никакая внешняя деятельность вообще не может сравниться по своему значению для истинной жизни с этой внутренней работой человека над собой. «Нам, живущим нашей христианской жизнью, — пишет Л. Н. в письме к С. Б., от 18 февраля, — так много работы внутрен-

ней над самим собой для искоренения не христианских привычек так во многом нужно утвердиться, особенно вам, молодым, что лучше всего энергию употребить на эту внутреннюю работу. И работа эта — самая плодотворная даже и для борьбы, которая неизбежна для всякого человека, живущего или стремящегося жить христианской жизнью и потому обремененного на постоянные, самые разнообразные столкновения с миром. Я всегда вспоминаю Достоевского, который говорит о том, как смешно видеть человека, желающего перевернуть весь мир и не могущего обойтись без папирос и готового на все, только бы ему дали покурить. Я говорю не о курении, а о том, что самое важное — не борьба, а то, чтобы орудия борьбы, т. е. люди, были сильны верою, были чисты как голуби и мудры как змеи, а если люди будут таковы, то они без борьбы будут побеждать».

То же самое он выражает, незадолго до смерти, в письме Д. Р-ну, от 7 апреля 1910 г.: «Дело внутреннего нравственного совершенствования, по моему мнению, до такой степени важно и требует такого усилия, что страшно затрачивать много энергии на внешнее устройство своей жизни, тем более, что это внешнее устройство часто — особенно если оно не удастся — может только повредить внутреннему делу самосовершенствования».

Поэтому, когда скороспелые «толстовцы» спрашивали Л. Н., как им устроить свою внешнюю жизнь, он отвечал им отрицанием самой необходимости такого нарочитого устройства внешней жизни. Вот, например, что писал он, 2 января 1908 г., Л. С-у: «На вопрос ваш, — как вам устроить свою жизнь, — отвечаю отрицанием самого вопроса: устраивать нашу жизнь не в нашей власти, и попытки такого



устройства только нарушают то ее устройство, которое предстоит нам, о котором мы не знаем и которое единое и лучшее и для нас, и для всех, соприкасающихся с нами. Задача нашей жизни, смысл ее — в чем вы, наверно, согласны со мной, — в том, чтобы проявить во всей доступной нам силе того Бога любви, который живет в нас; а чтобы проявить его, нам много надо работать над собою, над уничтожением тех грехов, которыми мы полны и которые мешают проявлению любви, — и телуоудничеству, и праздности, и сладострастие, и недоброжелательство, и слава людская, и гордость личная, и сословная, и народная, и несправедливость всякого рода, всякого рода суеверия, и церковное, и государственное, и научное, и искусство. Все это так въелось в нас и так затемняет, заглушает в нас дух Божий, что нельзя достаточно упорно и напряженно бороться со всем этим для того, чтобы все больше и больше освобождать дух Божий, любовь и пользоваться тем благом, которое дает это все большее и большее освобождение.

Только положите все силы на эти усилия, — то усилие, которым берется Царство Божие внутри нас. Всякую минуту настоящего насколько возможно больше употребляйте на эту внутреннюю работу совершенствования, освобождения, — и жизнь сложится так, как она должна сложиться. И, по всем вероятностям, не так, как вы бы того хотели, но сложится наилучшим образом». (Подчеркнуто мною. В. Б.).

В зависимости от такого взгляда Л. Н., — и это засвидетельствуют все знавшие его, — в последние годы своей жизни чрезвычайно ревниво относился

ко всяким попыткам своих друзей и единомышленников к переустройству своей внешней жизни и ко всякого рода внешним планам и предприятиям, замышлявшимся все с тою же целью: изменить, так сказать, жизнь к лучшему, «на новых началах». Если, например, такое переустройство или предприятие, действительно, осуществлялось, то он, радуясь за успех, все предупреждал удачников о том, что они не должны полагать в новой форме всего смысла жизни и что перед человеком стоят еще более высокие и недостижимые задачи — жизни для души, для Бога. И, напротив, когда он замечал брюзжание и недовольство в «устроителях», он, догадываясь о причинах неудачи, тотчас советывал неудачникам, не огорчаясь, вспомнить о той же, вечной, недостижимой цели, улучшения себя, стремления к совершенству Отца-Бога, жизни духом и для духа.

В этом отношении характерны 2 письма Л. Н., оба близким его друзьям и единомышленникам, из числа «толстовской» молодежи. Одно — к болгарину Христо Досеву, сообщавшему Л. Н., очевидно, об успехах братской коммуны, в которой он жил. «Рад был и тому, — пишет Л. Н. Досеву, 17 марта 1908 г., — что вы пишете про себя и про наших общих друзей; но должен сказать, что я всегда боюсь приписывать слишком большое значение внешним явлениям. Это отвлекает от заботы о внутренней жизни: а только в этом внутреннем движении, единении с Богом — и личное счастье, насколько мы можем его испытывать, и вместе с тем благотворнейшее воздействие на других людей».

В другом письме, к одному из самых последовательных своих единомышленников, всегда искавшему новых форм жизни и не удовлетворявшемуся ими,



ныне умершему, П. П. Картушину, проживавшему на Кавказе, Л. Н. пишет (в декабре 1907 г.): «Ваша ошибка была в том, что вы искали изменение внешних форм и деятельности для того, чтобы начать новую жизнь, которая влечет вас к себе. Я думаю, что надо начинать эту новую жизнь без приготовлений внешних, а тотчас в том положении и месте, в котором находишься: в тюрьме, в вагоне, во дворце...

Сущность же новой жизни должна состоять в стремлении к единению с другими людьми (преимущественно с людьми) и Богом, единению, проявляемому любовью. На воспитание, удержание в себе, увеличение, приучение себя к этой любви должны быть направлены все, все силы. Предоставим внешним условиям своей жизни складываться как они хотят, — и условия эти, под влиянием жизни, направленной на усиление любви, сложатся наилучшим образом. Пищу вам это, милый друг, не потому, что хочу ответить вам и предполагаю, что это может быть и верно, а потому, что знаю, что это истина, и по внутреннему голосу и по разуму, и по самому несомненно-убедительному опыту, знаю это так же верно, нет, вернее, чем то, что у меня есть тело и что я стою на земле» (Подчеркнуто мною. В. Б.).

Замечательный отрывок этот не оставляет ни малейшего сомнения в том, куда клонились внутренние симпатии Л. Н. за последние годы и каковы были действительные его убеждения. Как далеко это от поверхностного верхоглядства, часто проявляемого людьми, судящими «с кондачка» о Л. Н. Толстом и его мировоззрении. Какой глубиной и задушевностью

звучит здесь голос великого яснополянского мудреца и жизневеда!

Немудрено, что когда в годы старости Л. Н., разные хорошие юноши и девушки и вообще люди, искренно искавшие ответов на основные вопросы жизни, обращались к нему за разрешением своих сомнений и за советами, то все ответные слова и письма Толстого полны были именно указаниями на важность не той или иной поспешной перемены внешнего положения, а на важность внутренней работы над собой, совершенствования, увеличения любви, ценности духовной жизни и нравственной чистоты.

— Можно ли уйти от родителей, ради любимого дела? — спрашивает у Толстого один юноша.

— «Не могу категорично ответить на ваши вопросы, не зная того дела, которому вы горячо преданы, — отвечает Толстой. — Дело у всех есть только одно: увеличивать в себе и других взаимную братскую любовь. Если в этом состоит дело, которому вы преданы, или оно ведет к этому, то можно пожертвовать установившейся естественной любовью родителей для достижения цели: увеличения братской любви в людях вообще. Если же имеет целью изменение форм жизни, в чем, я полагаю, состоит ваше дело, то пожертвовать для этого любовью родителей — не хорошо...» (1908).

— Поехать ли мне или не поехать на войну сестрой милосердия — спрашивает у Льва Николаевича девушка.

— «Во внешнем поступке, — ехать или не ехать на войну, — отвечает ей Л. Н., — не может быть ничего ни дурного, ни хорошего. Можно жить дурно, занимаясь с больными, и жить хорошо, занимаясь всяким другим делом. А важно только то, чтобы жить хорошо, т. е. не для себя, а для служения Богу и лю-



дям, чего и желаю вам и советую» (письмо к О. Н. Ш-ой, от 14 февраля 1904).

— Согласиться ли мне добровольно на освидетельствование при призыве на военную службу или нет? — спрашивает молодой человек, собирающийся отказаться от военной службы по религиозным убеждениям.

Л. Н. отвечает:

— «Вопрос о том, как вам поступить, свидетельствоваться или отказаться, можете решить только вы сами. Главное в этом то, чтобы делать то, что вы будете делать, не для славы людской, не для того, что скажут про вас люди, а делать или не делать только потому, что так велит Бог, совесть. Поэтому же не надо тоже думать о том, какую пользу принесет ваш поступок другим людям. Надо думать только о том, чтобы поступать так, как велит Бог, т. е. стараться быть совершенным, как Отец Небесный. Совершенство же состоит в любви. А чем больше будешь совершен, тем больше принесешь пользы людям, а то и не знаешь какую, а это кажется очень мало, а между тем в этом все. Мысли же о том, чем и как мы можем принести пользу людям, бывают главными причинами и бедствий людей, и своего нравственного упадка». (Письмо к С. А. Заболотнюку, от 21 сентября 1907 г.).

— Какое значение имеет кооперация и насколько она содействует улучшению жизни людей? — спрашивает у Л. Н. увлекающийся своей работой деревенский кооператор.

— «Кооперация — дело не дурное, между прочим, — отвечает Толстой, — но сила вся не во внешнем устройстве, а во внутреннем, самом себе. Улучшать жизнь вообще можно только улучшением себя». (Письмо к В. И. Бабочкину, от 29 июля 1910).

— Выйти ли мне из кадетского корпуса и начать рабочую жизнь или же остаться в корпусе? — спрашивает подросток.

И Толстой пипшет ему:

— «Не могу определенно ответить на ваш вопрос, потому что не знаю основной причины в вашем желании оставить корпус и начать рабочую жизнь. Если вами руководит желание устроить себе жизнь, более соответствующую вашим вкусам, то я думаю, что поступив так, вы жестоко ошибетесь: такая ваша жизнь вызовет огорчение ваших родных и не удовлетворит вас и вы не выдержите ее тяжести. Так я думаю по своему наблюдению и опыту. И потому не советую поступать так, если вами руководит только рассуждение о том, что такая жизнь будет лучше той, к которой вы готовитесь в корпусе. Если же вами руководит религиозное чувство, сознание того, что военное дело не согласно с волей Божьей, тогда другое дело. Но и тогда вам не надо загадывать вперед о той деятельности, которую вы изберете. А надо только сейчас, всякую минуту своей жизни поступать так, как требует того ваша вера в Бога и его законы. И этот род поступков, соответствующих требованию вашей веры, сам собою приведет вас к какому либо (нельзя определить его вперед и не должно) роду жизни.

При этом советовал бы вам для того, чтобы не принять свои рассуждения и соображения за веру, постараться прежде всего в так называемых мелочах обыденной жизни следовать требованиям своей веры: доброте ко всем людям, воздержанию от тщеславия, всякого рода похоти, правдивости, самоотвержения, чистоте. Только такая внутренняя работа над собой покажет вам — и в какой степени сильна в вас ваша вера, и в какой степени, если ваша вера приведет



вас к изменению вашего положения, в какой степени вы вынуждены изменить свою жизнь.

Вообще, думаю, что выходить вам из корпуса нужно не тогда, когда вы рассудком решите, что это было бы хорошо, а тогда, когда вы всем существом почувствуете, что эта жизнь так противна, не вашим вкусам, а вашей вере, что вы не можете продолжать ее. Тогда только это будет прочно и плодотворно, а если вы можете продолжать теперешнюю жизнь, то продолжайте ее» (Подчеркнуто мною. В. Б.).

Тут особенно поразительны последние слова Л. Н., подчеркнутые мною: совет юноше продолжать свою жизнь, т. е. оставаться в военно-учебном заведении, если он может это. «Как, антимилитарист Толстой советует молодому человеку остаться в кадетском корпусе, если он может это?» — восклицает тот, кто лишь внешне воспринял взгляды Л. Н. Да, потому, что Толстой знал наверное, что в поступке юноши только то «будет прочно и плодотворно», что вполне соответствует той ступени внутреннего роста, на которой он находится, между тем, как шаг, не вытекающий непосредственно из внутренних побуждений, может привести к гораздо более худшим последствиям, чем пребывание в прежних условиях и продолжение душевного роста.

Девушке, которая жаловалась в письме на свою «серенькую» жизнь, Л. Н. отвечал:

— «Перед Богом все жизни серенькие и вместе с тем все нужные, если они хорошие; а перед людьми то, что считается не сереньким часто бывает самое скверное» \*).

\*) «Записки» Н. Н. Гусева, 21 ноября 1908.

Итак, по существу, внешние формы жизни, внешние поступки безразличны, с истинно-религиозной духовной точки зрения. Важны только мотивы, их порождающие.

«Не думайте о форме жизни иной, более желательной, — пишет Лев Николаевич И. А. Бунину, 23 февраля 1894 г.: — все безразлично. Лучше только та, в которой требуется наибольшее напряжение духовной силы».

Но из этого отнюдь не следует, что внешние изменения совсем не нужны. Толстой хочет только сказать, что настоящее, действительное, плодотворное изменение не может не иметь за собой внутренней основы, и напротив, если есть эта внутренняя основа, внутреннее изменение, то и внешнее следует за ним, также неизбежно, «как воз за лошадью».

Это прекрасно выражено у Толстого в драме «И свет во тьме светит» (1902) в ответе отказавшегося от военной службы и содержащегося под арестом Бориса Черемшанова посетившему его Николаю Ивановичу Сарынцеву (действие III):

«*Николай Иванович.* Главное же, не делай ничего для славы людской, для того, чтобы одобрили те, чьим мнением ты дорожишь. Про себя я смело говорю тебе, что если ты сейчас примешь присягу, станешь служить, я буду любить и уважать тебя не меньше, больше, чем прежде, потому что дорого не то, что сделалось в мире, а то, что сделалось в душе.

*Борис.* Разумеется, потому что, если сделалось в душе, то и в мире перемена будет» (Подчеркнуто мною. В. Б.).

«Если сделалось в душе, то и в мире перемена будет», — вот основная заповедь катехизиса Толстого.



Но как же жить? Куда же идти? Какая же все-таки лучшая форма человеческой жизни?

«Нельзя вперед определить форму христианской жизни, — категорически отвечает Толстой в письме И. Ф. Наживино, от 27 февраля 1904 г. И дальше дает чудный образ, который один способен осветить всю сущность религиозно-философского мировоззрения Толстого: — «Служение Богу и людям, любовь—что тот клубок, который в сказке волшебница дает юноше, чтобы он шел туда, куда поведет разматывающийся клубок любви, а куда он приведет мы знать не можем, а если будем воображать, что знаем, то собьемся с дороги»...

Толстой хочет сказать, что нет одного, обязательного, предписываемого заранее «правилом» пути для истинно-религиозного человека, но, напротив, тысячи путей часто неожиданных и неведомых, и безконечных в своем разнообразии, ведут человека к Богу.

И о том же, в не менее выразительной форме говорит он в другом письме к тому же Наживину, от 14 ноября 1906 г.: «Только отрешиться хорошенько от славы человеческой, установить твердые, всегда чувствуемые отношения с Богом, с хозяином моей жизни, хорошенько вполне отказаться от осуществления каких бы то ни было желаний, хорошенько проникнуться великими русскими словами: «человек ходит, Бог водит», и не будет заботы о том, Закхей я или Будда. Я, Толстой или Наживин, хочу только одного, истинно хочу делать его волю, а что выйдет из моего хотения, не мое дело. Все это ясно, когда есть полная искренность. Если же я не толь-

ко Закхей, но фарисей в глазах людей, то это только тем лучше, чтоб я устанавливал свое отношение с одним Богом. Не представляйте себе никакого своего внешнего положения, а только как можно чаще, особенно при сношении с людьми, от жены до генерал-губернатора и нищего, вспоминайте кто вы, что вы обязаны, не обязаны, а что вам истинно хорошо для вашего блага делать, и вы будете совершенно спокойны. Может быть, вырежете свое мясо для голодной тигрицы, а может быть будете сажать яблоню и есть яблоки в своем саду. Говорю вам от всей души, по опыту, милый друг. Главное, хорошенько отрешиться от заботы о последствиях своих поступков».

Ничего внешнего, ничего показного, все — внутреннее, все — душевное, все — для Бога, — таков завет Л. Н.

«В Оптиной пустыне, — рассказывает Л. Н. в статье «О самоубийстве» (1900 г.), — в продолжение более 30 лет лежал на полу разбитый параличем монах, владевший только левой рукой. Доктор говорил, что он должен был сильно страдать, но он не только не жаловался на свое положение, но постоянно крестясь, глядя на иконы, улыбаясь, выражал свою благодарность Богу и радость за ту искру жизни, которая теплилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него, и трудно представить себе все то добро, которое распространилось на мир от этого лишенного всякой возможности деятельности человека. Наверно, этот человек сделал больше добра, чем тысячи и тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру. Пока есть жизнь в человеке, он может совершенствоваться и служить миру. Но служить миру он может только совершен-



ствуясь, а совершенствоваться только служа миру».

Так «еретик» Толстой, с его гениальной прозорливостью, позволяющей ему углубляться в самую сущность явлений, оценил великий подвиг святости в смиренном, больном, почитавшем себя ни за что монахе православного монастыря, «неделание», которого говорило душе Толстого гораздо больше и казалось ему безконечно более плодотворным для истинного движения человечества вперед, чем тысячи разных «дел», совершаемых самоуверенными «строителями жизни» разных формаций и наименований.

Заключительные же слова Л. Н. в этом описании, столь выразительные и яркие, совершенно точно отвечают на главный вопрос, обыкновенно возникающий при всех суждениях о Толстом, как мыслителе: вопрос о взаимоотношении между личным совершенствованием и служением другим людям. То и другое нераздельно.

## VII.

Последний крупный религиозно-философский труд Л. Н. Толстого «Путь Жизни», над которым он работал с января 1910 г. до самого ухода из Ясной Поляны в октябре того же года и корректуры которого он видел в руках И. И. Горбунова-Посадова уже умирающий, в Астапове, чрезвычайно характерен для последнего фазиса духовной эволюции великого мыслителя. Заключая в себе богатейший материал мыслей как самого Толстого, так и его любимых мыслителей (в очень сильной переработке) и будучи составлен систематически, по определенному плану, охватывающему все интересовавшие Л. Н. вопросы, — «Путь Жизни», в противоположность «В чем моя вера», производит впечатление не боевого трактата, с которым автор выступает перед изумленной смелостью, дерзостью и новизной его мыслей толпой, а скорее — умиленного и тихого последнего завета мудреца, старца, всеми признанного мыслителя, авторитет которого непререкаем и которому поэтому нет надобности «доказывать», спешить, волноваться и горячиться, слова которого льются спокойно, ровным потоком, чистым, светлым и глубоким, как небесная лазурь.

Автор не открывает никаких «Америк», он не



говорит ничего «нового», да и не стремится сказать. Он знает, что в области духа, в области религии все лучшее, новое, есть в сущности ни что иное, как основательно позабытое старое. Он ни с кем не борется и не опровергает никаких кумиров. Он вообще безразличен к «результатам» своего труда: он лишь высказывает то, во что он верит, а последствиям своей проповеди предоставляет складываться так, как хочет Бог. И он верит, что, если нужно, то они сложатся наилучшим образом. Если он и говорит о суеверии в области религии или о государственном насилии, как об ужасном тормазе для общечеловеческого прогресса, то слова его отнюдь не похожи на полемику, даже в самом благородном смысле этого слова, а скорее на приговор суда. О чем спорить? с кем воевать? Вечные истины так ясны, так тверды и незыблемы, что было бы пустой суетой пытаться «защищать» их от кого то. Надо только выяснить их и х, отстраняя все то, что невольно мешает людям подойти к их пониманию и усвоению.

И вы чувствуете, пробегая страницы мудрой книги, что рука, которая берется за это выяснение, поистине чужда в какой бы то ни было степени элементов личного и суетного. Только любовь к истине и стремление передать ее людям владеет этой рукой.

В «Пути Жизни» перед Толстым стоят, главным образом, не вопросы общественного социального характера о преобразовании путем принятия христианского учения всего общественного строя, а вопросы личного совершенствования и внутреннего, духовного роста каждого отдельного человека. Толстой более, чем в каком бы то ни было другом сочинении, настаивает здесь на том, что Царство Божие на земле

устанавливается только тем, что мы «освобождаем в себе тот божественный свет, который заложен нам в душу» («Путь Жизни», глава «Грехи, соблазны, суеверия»). И освобождается этот «Божественный свет» не ради каких нибудь внешних практических последствий (хотя они приходят сами собой), а только потому, что освобождение этого света в жизни для души, для Бога, — высшее благо человека и неумножимый, вечный смысл его существования.

В «Пути Жизни» Толстой уже не называет, — подобно тому, как в книге «В чем моя вера», — заповеди о «непротивлении» ключем к пониманию христианского учения. Место этой заповеди занимает другая, более общая и в одно и тоже время, — и более простая, и более трудная — заповедь: стремление к совершенству Отца. «Ничто так очевидно не подтверждает того, говорит Л. Н., что дело жизни есть совершенствование, как то, что чего бы ты ни желал вне своего совершенствования, как бы полно ни удовлетворялось твое желание, как скоро оно удовлетворено, так тотчас же уничтожается прелесть желания. Не теряет своего радостного значения одно: сознание движения к совершенству. Только это непрерывающееся совершенствование дает истинную, непрерывающую, а растущую радость. Всякий шаг вперед на этом пути несет за собой свою награду, и награда эта получается сейчас же и ничто не может отнять ее». («Путь Жизни», гл. «Жизнь — благо»).

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, сказано в Евангелии. Это не значит то, что Христос велит человеку быть таким же совершенным, как Бог, а значит то, что всякий человек должен делать усилия сознания, чтобы приближать-



ся к совершенству и что в этом приближении — жизнь человека». («Путь Жизни», гл. «Усилие»).

«Для бессмертной души нужно такое же и дело бессмертное, как она сама. И дело это — безконечное совершенствование себя и мира — и дано ей». («Путь Жизни», гл. «Душа»).

В самом деле, разве применение заповеди «непротивления» (да еще в общественном понимании этой заповеди) дает окончательное удовлетворение христианской душе? И разве с исполнением ее и тех пяти заповедей, которые перечисляет Л. Н. в книге «В чем моя вера», кончается дело христианина в жизни и его работа над собой? А другие «грехи, соблазны и суеверия»? А лживость? А гордость? А тщеславие? А зависть? А осуждение? А корыстолюбие? А излишество? А невоздержание в слове? А греховные помышления? и т. д., и т. д. Нет, это поле внутренней работы безконечно. Сорные травы растут на нем в изобилии, и где уж заботиться о том, чтобы выхолотить это поле у других, — дай Бог с своим то справиться. Но, разумеется, если бы каждый выпалывал свое, то и вся человеческая нива была бы чиста.

Книга «Путь Жизни» состоит из 31 главы, приблизительно одинакового объема, посвященных каждая какомунибудь отдельному вопросу метафизики или морали, причем из этих 31 главы только незначительное меньшинство трактует о вопросах, которые можно было бы назвать «общественными», т. е. относящимися к жизни не только отдельного человека, но и соединений людей (в церкви, государстве и т. д.). Но даже и в этих случаях то или иное правило, та или иная заповедь, — если только можно назвать «правилами» и «заповедями» свободно из-

лагаемые и никому ненавязываемые мысли и изречения «Пути Жизни», рассматриваются прежде всего именно не по их общественному, хотя бы и неоспоримому значению, а по их личному значению для дела совершенствования и духовного роста каждого отдельного человека. Все же остальные главы заняты исключительно перечислением «грехов, соблазнов и суеверий», мешающих внутреннему росту человека и способов освобождения от них, — способов также чисто духовных.

При этом в «Пути Жизни» мы находим не мало мыслей, подтверждающих тот взгляд Л. Н. на преимущественную необходимость внутренней, духовной работы перед какой бы то ни было внешней деятельностью, к которому он пришел в последнем фазисе своей духовной эволюции. Взгляд этот получает в «Пути Жизни» даже свое особенное развитие, подкрепляясь целым рядом замечательных по силе и яркости мыслей Толстого о ненужности и вреде всякого «устроительства» вообще, о «неделании», о важности внутреннего «усилия», о том, что «все начала грехов в мыслях» и о «жизни в настоящем», независимом от предположений о последствиях.

Припомним себе здесь главнейшие из этих изречений Толстого, особенно ярко иллюстрирующие не букву, но дух того жизнепонимания, которое мы знаем теперь, как истинное жизнепонимание Толстого и как его подлинную духовную физиономию. Различие положений «Пути Жизни», — опять таки, не по букве, а по духу, — с тем, что высказывал Л. Н. на ранних ступенях его сознательного религиозного развития, как мне кажется, становится очевидным само собой, по ознакомлениям с этими положениями.



## ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТИ ЖИЗНИ».

— В жизни есть только одно для всех людей важное дело. Дело это в том, чтобы улучшать свою душу. Одно это дело предназначено всем людям. Все остальное пустяки в сравнении с этим делом. То, что это так, видно из того, что в этом одном деле человеку не бывает помехи и что от этого одного дела человеку всегда бывает радостно. (Гл. «Усилие»).

— Нам кажется, что настоящая работа — только над чем нибудь видимым: строить дом, пахать поле, кормить скот, а работа над своей душой, над чем то невидимым — дело неважное, такое, какое можно делать, а можно и не делать, а между тем всякая другая работа, кроме работы над своей душой, над тем, чтобы делаться с каждым днем духовнее и любовнее, — всякая другая работа — пустяки. Только одна эта работа настоящая, и все остальные работы полезны только тогда, когда делается эта главная работа жизни». (Гл. «Усилие»).

— Тот, кто признает свою жизнь нехорошей и хочет начать жить лучше, не должен думать, что он может начать жить лучше только тогда, когда он переменит условия своей жизни. Исправлять жизнь надо и можно не внешней переменной, а в самом себе и в своей душе. А это можно делать всегда и везде. И работы этой у всякого достаточно. Только когда душа твоя так изменится, что ты не будешь в состоянии продолжать прежнюю жизнь, только тогда переменяй жизнь, а не тогда, когда тебе будет думаться, что тебе легче будет исправлять себя, если ты переменишь жизнь». (Гл. «Усилие»).

— Все различия наших положений в мире ничто в сравнении с властью человека над самим со-

бою. Если человек упал в море, то совершенно все равно, откуда он упал в море и какое это море. Важно только то, умеет ли этот человек плавать или нет. Сила не во внешних условиях, а в умении владеть собой». (Гл. «Неделание»).

— Я — орудие, которым работает Бог. Мое истинное благо в том, чтобы участвовать в его работе. Участвовать же в его работе я могу только теми усилиями сознания, которые я делаю для того, чтобы держать в порядке, чистоте, остроте, правильности то орудие Божие, которое поручено мне, — себя, свою душу». (Гл. «Усилие»).

— Нет ничего важнее внутренней работы в одиночестве с Богом. Работа эта в том, чтобы останавливать себя в желании блага своей животной личности, напоминать себе бессмысленность телесной жизни. Только когда один с собой, с Богом и можно делать это. Когда с людьми, тогда уже поздно. Когда с людьми, то поступишь хорошо только тогда, когда заготовил способность самоотречения в уединении, в общении с Богом». (Гл. «Самоотречение»).

— Надо не столько стараться делать добро, сколько стараться быть добрым; не столько стараться светить, сколько стараться быть чистым. Душа человека живет как будто в стеклянном сосуде, и сосуд этот человек может загрязнить и может держать чисто. Насколько чисто стекло сосуда, настолько светит через него свет истины, — светит и для самого человека и для других. И потому главное дело человека — внутреннее, в содержании в чистоте своего сосуда. Только не загрязняй себя, и тебе будет светло, будешь светить и людям». (Гл. «Неделание»).

— Чем меньше человек доволен собою и своей внутренней жизнью, тем больше он проявляет себя



во внешней, общественной жизни. Для того, чтобы не впадать в эту ошибку, человек должен понимать и помнить, что он также не властен и не призван устраивать жизнь других, как и другие не властны и не призваны устраивать его жизнь, что он и все люди призваны только к одному своему внутреннему совершенствованию, в этом одном всегда властны и этим одним могут воздействовать на жизнь других людей». (Гл. «Насилие»).

— Мы часто говорим и думаем, что я «не могу делать всего, что должно, в том положении, в котором нахожусь теперь». Как это несправедливо. Та внутренняя работа, в которой заключается жизнь, всегда возможна. Ты в тюрьме, ты болен, ты лишен возможности какой бы то ни было внешней деятельности, тебя оскорбляют, мучают, — но внутренняя жизнь твоя в твоей власти: ты можешь в мыслях упрекать, осуждать, завидовать, ненавидеть людей и можешь в мыслях же подавлять эти чувства и заменять их добрыми, так что всякая минута твоей жизни твоя, и никто не может отнять ее у тебя». (Гл. «Жизнь в настоящем»).

— Надо не думать о будущем, а только в настоящем стараться делать жизнь радостной для себя и для других. «Завтрашний день печется сам о себе». Это великая правда. Тем то и хороша жизнь, что никак не знаешь, что нужно для будущего. Одно наверное нужно и годится всегда — в настоящую минуту — любовь к людям». (Гл. «Жизнь в настоящем»).

— «Огонь пришел Я низвесть на землю: и как желал бы, чтоб он уже возгорелся». (Луки, XII, 49).

— Но почему же огонь этот так медленно разгорается? Если могло пройти столько веков и христианство не изменило строя общественной жизни, ка-

кое право имеем мы думать, что это как то само собою делается теперь? Большинство людей, приведенных к необходимости признания истины христианства все еще не берет этой истины за основание своей деятельности. Отчего это? А только от того, что люди ждут изменения от внешних условий, а не хотят понять того, что достигается это только усилием каждого отдельного человека в своей душе, а не какими либо внешними изменениями». (Гл. «Усилие»).

---

Вот — новый, последний, высший символ веры Толстого. Эти случайные одиннадцать отрывков из «Пути жизни» — не по их внешнему количественному, а по их внутреннему, духовному содержанию, — являются поистине опорной точкой, глубочайшей основой всего «толстовства», как религии.

Попробуйте же теперь сравнить этот символ с тем, которым заканчивается книга «В чем моя вера», — и вы увидите, какая глубокая разница по настроению и по содержанию лежит между этими двумя исповеданиями веры одного и того же сильного, великого духа, но на разных ступенях его развития.

«Путь Жизни» знаменует последний этап духовной эволюции Л. Н. Толстого, завершение того своеобразного круга, который прошел Толстой в своей внутренней жизни, перейдя сначала к проповеди «делания» от безжизненной, отвлеченной веры первого, до — сознательного периода и затем вернувшись сознательно к признанию преимущественного значения внутренней работы сознания, работы духа перед внешним «деланием». Старый вопрос исторического христианства: «вера и ли дело?» — Толстой



разрешил так: дело духа, дело веры, т. е. не голый только факт, не внешнее «делание», а «делание», вытекающее из требований духа, требований веры.

«В чем моя вера» — замечательная книга сама по себе, и она осталась бы такой, если бы религиозное творчество Толстого ограничилось ею одной. И в рационалистическом христианстве появилась бы тогда еще одна партия, одна секта — «толстовцы», — потому что толкование, приданное Л. Н. в книге «В чем моя вера» отдельным заповедям Христа и мотивировка этого толкования полны новшества и своеобразия. Да и центр тяжести исторической христианской веры передвинут в книге слишком круто. Новая секта могла сильно вырасти (может быть, даже больше, чем это может случиться после «Пути Жизни»), но, во всяком случае, движение это не было бы воплощением того, позднейшего Толстого, которого мы теперь уже видели воочию и который с достаточной полнотой отразился в религиозных писаниях последнего периода. А этот Толстой, наверное, никогда не стал бы говорить о заповедях — правилах, об «исполнении» внешних предписаний веры и вообще о практическом значении христианства и т. д. таким языком, как в книге «В чем моя вера».

## VIII.

Мировоззрению, которое мы пытались охарактеризовать, как высшую и окончательную ступень духовной эволюции Л. Н. Толстого, великий мыслитель оставался верен до последних дней своей жизни. Чем дальше рос он и чем больше и больше углублялся в себя духовно (а о Толстом можно сказать, что он никогда не знал состояния застоя в своей внутренней жизни), тем все сильнее и сильнее укреплялся он в этом мировоззрении.

«Я все сильней и сильней испытываю, помня приближение конца, — писал Лев Николаевич В. И. С. 21 ноября 1903 г., — то, что и вы знаете: что надо все больше и больше переносить свои цели из жизни мирской в жизнь духовную, в жизнь не перед людьми, а перед Богом, жить в виду не одной этой жизни, а в виду вечной жизни. А жить так можно, только полагая всю свою энергию на свое внутреннее совершенствование».

«Одно, на чем я настаиваю и что мне яснее и яснее становится с годами, — писал он М. С. Дудченко, 18 февраля 1909 г., — это та опасность озлобления внутренней духовной работы, при перенесении энергии — усилия — из внутренней области во внешнюю».



Вокруг Толстого надвигались тучи, прогремела Японская война, вслед за нею разразилась революция 1905 г., закончившаяся полным разгромом революционеров и подавлением справедливых народных требований, в стране во всю свирепствовала политическая реакция, народ жил, болел и умирал в потрясающей бедности, приниженности и искусственно поддерживаемом невежестве, тюрьмы переполнены были жертвами правительственного насилия, смертные казни с одной стороны и революционный террор с другой, заставляли каждое сколько-нибудь чуткое сердце стынуть от ужаса, — как же переживал все это Л. Толстой? О чем учил он? Неужели и тут его взгляды не поддались никакому изменению и он попрежнему настаивал на необходимости внутреннего перерождения, внутреннего просвещения и внутренней работы для каждого человека? Да.

16 июня 1909 г. он писал своему другу и единомышленнику В. А. Молочникову: «Ох, от таких дел стонет весь мир, и не знаешь, куда деться, чтобы не видеть их. Я теперь живу у дочери и в новых условиях с особенной яркостью и болью вижу и чувствую это установившееся, постоянно продолжающееся, самое очевидное преступление грабежа, отнимающего у людей не только их имущество, но их силы, их жизнь. Надо не унывать, а чем больше зло во вне, тем больше уничтожать его в себе, так как в этом одно средство его уничтожения» (Подчеркнуто мною. В. Б.).

Из этих слов видно, как глубока была вера Толстого в то, что он говорил.

Убеждение в незыблемом, авторитарном значении духовной жизни стало совершенно непоколеби-

мым в сознании Л. Н. Так, об этом свидетельствует между прочим, следующий факт. В 1910 г. все ожидали каких то необыкновенных последствий от предсказанного астрономами появления кометы Галлея. Говорили, что комета заденет и уничтожит землю или что в сопровождающей ее ядовитой атмосфере могут задохнуться все люди и т. д. Бывший в ссылке в Пермской губ., секретарь Л. Н-ча Н. Н. Гусев запросил Толстого, как он относится к подобным предположениям, и Л. Н. ответил Гусеву 14 января 1910 года:

«Мысль о том, что комета может зацепить землю и уничтожить ее, мне была очень приятна. Отчего не допустить эту возможность? А допустив ее, становится особенно ясным, что все последствия материальные, видимые, осязаемые последствия нашей деятельности в материальном мире — ничто. Духовная же жизнь также мало может быть нарушена уничтожением земли, как жизнь мира — смертью мухи. Еще гораздо меньше. Мы не верим в это только потому, что приписываем несвойственное значение жизни вещественной».

И в своей личной жизни Л. Н. с совершенно исключительной настойчивостью и последовательностью проводил свой взгляд, что внутренняя работа человека над собой должна стоять на первом плане, и ни один шаг во внешней области не может быть предпринят, не будучи проверен внутренним сознанием человека. И все, знавшие Л. Н., отлично помнят и свидетельствуют в один голос о том, что к концу своих дней он достиг необыкновенной высоты своего духовного строя. Он, всю жизнь борющийся со своими недостатками, когда то сильный, страстный и гордый человек, поражал всех своим бесконечным



добродушием, смирением и незлобием. От самой фигуры его веяло необыкновенной мягкостью, он весь как бы светился насквозь той любовью к людям, которой была полна его душа.

Его осуждали, его забрасывали клеветами, он получал наполненные грубой бранью письма — за то, что он «не делает того, что говорит»: не покидает Ясной Поляны, — той Ясной Поляны, которая, в действительности, была для него пыткой, тем костром, на котором он сгорал в медленном огне, тратя свои душевные и физические силы ради любви к окружающим, семье, не желавшей отпустить его, — и Толстой покорно и смиренно молчал в ответ, считая в глубине души, что все эти упреки, осуждения и ругательства справедливы, но зная в то же время, что не пришел еще час его, что нет еще воли Божией на то, чтобы он избрал другую, новую форму жизни, оставив родной дом и семью.

В начале 1910 г. он получил письмо от незнакомо-го ему студента Б. Манджоса из Киева, который горячо уговаривал Л. Н. оставить Ясную Поляну, — сделать тот последний шаг, который окончательно приведет к нему сердца всех людей и заставит их следовать за ним. Толстой ответил студенту (17 февраля 1910 г.):

«То, что вы мне советуете сделать, составляет заветную мечту мою, но до сих пор сделать этого я не мог. Много для этого причин (но никак не то, чтобы я жалел себя); главная же та, что сделать это надо никак не для того, чтобы подействовать на других. Это не в нашей власти и не это должно руководить нашей деятельностью. Сделать это можно и должно только тогда, когда это будет необходимо не из за предполагаемых внешних целей, а для удовлетво-

рения внутреннего требования духа, когда оставаться в прежнем положении станет так же нравственно невозможно, как физически невозможно не кашлять, когда нет дыхания. И к такому положению я близок и с каждым днем становлюсь все ближе и ближе».

Через 8 месяцев Л. Н., действительно, покинул Ясную Поляну, и дальнейшие события направлял уже не он, а Сам Бог. И Толстой это понимал, записывая коснеющей рукой в свой дневник, в Астапове, на смертном одре, последние написанные им когда либо строки: «Вот и план мой. И все на благо, и другим, а главное самому мне».

Судьбе угодно было прервать эту жизнь в то время, как давнишний план Л. Н., заключавшийся в изменении всего уклада внешней жизни, был уже накануне, или вернее, даже в начале своего осуществления. Что то вроде разочарования мелькает в душе Толстого («Вот и план мой»), но вера в волю Бога, направляющую события и сознание, что он с своей стороны, сделал правильный шаг, исполнил то, к чему призывал его внутренний голос, не заботясь о внешних последствиях, — приводят Толстого к высшему примирению с своим положением, и великой покорностью воле Божьей, которой он служил, хотел служить всю жизнь, звучат последние слова его дневника.

Учение Толстого не умерло с его кончиной. Число последователей его все возрастает и возрастает. И надо сказать правду, что прежнее, более или менее поверхностное, отношение к идеям Толстого теперь уже редко имеет место среди так называемых «толстовцев». Истинный дух учения не остался чужд единомышленникам великого мыслителя и человека. Идеи Л. Н. находят в последователях его не узкое и



внешнее, а свободное и широкое толкование, точно так же, как и способы их применения к жизни определяются ничем иным, как только совестью каждого отдельного человека, а не общим кодексом правоверной группы, которого, к счастью, и нет вовсе. В этом смысле «толстовцы» далеко не представляют однородной общей массы, — как стадо баранов, стриженных под одну гребенку. Индивидуальность каждого остается при нем.

Вообще говоря, стремление к внешнему устройству (крайнее «опрошение», земельный труд, жизнь общиной и пр.) в значительной мере уступил свое место деятельности чисто духовного, просветительного характера: религиозно-философским кружкам, лекциям и распространению книг, воззваний, идейной переписки и т. д. Во внешнем обиходе лишь немногие усиленно подчеркивают свою обособленность от остального общества (в платьях, в ношении длинных волос, в хождении босиком и пр.), и это вызывает всеобщее порицание со стороны остальных. Вообще же, «толстовца» по внешнему облику стало совершенно невозможно отличить от «не толстовца», тем более, что так называемые «толстовцы» отнюдь не отказываются работать в различных общепользовательных предприятиях, на ряду со всеми остальными людьми. В «толстовцах» не заметно ханжества и буквеведства, что выгодно отличает их от сектантов вообще. Никаких обязательных форм организации, замкнутости у них нет. И хотя в иных случаях (например, при отказе от военной службы, при протестах против войны и насилия и т. д.) им и приходится проявлять много мужества и переносить тяжелые душевные и телесные испытания, вплоть до мученической смерти, но, вообще, им совершенно чужд дух

фанатизма, и общим убеждением этих людей считается лишь вера в необходимость постоянной внутренней работы над собой, не контролируемой ни единомышленниками, ни буквой самого Толстого, ни вообще кем либо из людей и какими бы то ни было человеческими установлениями, а только своей совестью.

Таково, — я не хочу сказать: состояние, — а таково направление «толстовской» (выражаясь условно, потому что всякий подобный ограничительный термин был бы в данном случае неуместен) общины, весьма многочисленные члены которой рассеяны, главным образом, в России, но также и в других странах: Англии, Болгарии, Голландии, Швейцарии, Японии, Америке и т. д. Число их подсчитать невозможно, потому что они не стремятся в чем либо внешним образом отделиться от всех остальных братьев людей, и в этом отношении к ним вполне применимы те упреки, которые делались врагами Христа по адресу его учеников: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а твои едят и пьют?» (Луки, гл. V, ст. 30 и 33). Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но не умытыми руками едят хлеб? (Марк, гл. VII, ст. 5). Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу?» (Луки, гл. VI, ст. 2).

Словом, было бы напрасно искать в «толстовцах» секту.



Выводы из всего вышесказанного напрашиваются сами собой. Мы видели, как Л. Н. Толстой в своем непрерывном духовном росте, скидывал с себя одну за другой пеленки, в которых он застал себя при своем втором рождении, «рождении свыше», и в которую он закутан был как одно из жалких и слабых «чад земли». Душа его, от временного и преходящего, тянулась к вечному и неизменному, от всего, сковывавшего ее свободу и жизнь, к тому, что, как солнце растение, живило ее. И этим солнцем для духовной жизни Л. Н. явился закон добра, закон любви, открытые им в душе человека. «Все для любви, все для Бога, как источника любви и нашей духовной жизни», — стало единым лозунгом Толстого.

И в этом — великое утверждение жизни, а вовсе не ее отрицание, как может это показаться не чуткому и не глубокому пониманию. Зовя человека к тому, чтобы он отказался от своего маленького личного, ограниченного «я», Толстой, как истинный истолкователь мирового религиозного закона, тем самым хочет восстановить в человеке сознание его истинного, высшего «Я», — сознание, делающее человека Сыном Бога и братом всего живущего, носителем единого Божественного Начала, правящего и повелевающего миром и связующего все части этого мира в единое и гармоническое целое.

Толстой, отвлекая человека от сознательного, рабского служения ничтожным и мелким идеалам, стремясь каждую слепую овцу человеческого стада переделать в Пастыря, направляя тепло и свет своего религиозного гения на те, часто слабые, но неизменно зеленеющие в каждой душе, ростки Божественной Воли и Жизни, ратуя за очищение души человеческой от заволакивающих ее мусора и грязи животности, — тем самым хочет научить каждого брата-человека не оплевывать, не заглушать своих собственных высших возможностей, не давать им пребывать в беспробудном мертвом сне, но, напротив, понять, наконец, себя и свое истинное «Я», сознать свое высшее человеческое назначение, и больше, крепче ценить самого себя, не быть тем, от природы обиженным разумом, богачем, который, по неразумию, променивает полновесную золотую монету на блестящие стеклянные бусы...

Все внешнее, материальное не может становиться целью самой по себе в жизни сознавшего свое истинное назначение человека. Все это в лучшем случае, как и самое тело человека, есть только орудие, которое дано ему, чтобы проявить в этих видимых условиях пространства и времени свою истинную и бессмертную, вневременную и внепространственную сущность, законы коей — любовь и единение.

Толстой, как и другие мудрецы мира, подымавшиеся на ту же степень духовного откровения, хочет предупредить нас, что мы склонны часто недооценивать себя, что мы часто и не знаем о том кладе — нашем духовном «Я», которым мы обладаем, что мы, как будто нарочно, по незнанию или по слепоте отказываемся от тех высших радостей и высшего удовлетворения (несравнимых с тем, что дает чувствен-



ность), какие сулит нам жизнь в духе и во взаимном братском любовном единении. «Все — для этой жизни, нет ничего выше ее» — говорит Толстой.

И этого не надо понимать так же, как отказ Толстого от всяких попыток к чисто практическому переустройству личной и общественной человеческой жизни на земле. Та последняя, высшая ступень духовной эволюции Толстого, на которой ему открылось, что пренебрежение духовными, нравственными законами есть основная центральная причина, благодаря которой разрешается и все внешнее благоустройство, — эта ступень его духовного роста нисколько не исключает возможности трезвого, здорового и планомерного разумного обсуждения всех насущных нужд человека, пока он живет в теле, и всех способов облегчить, упорядочить, облагородить эту жизнь. Но только Толстой, поднявшийся на высшую точку зрения, понял, что и возможность такого — простого, разумного, практически-жизненного, согласного и успешного строительства приобретает лишь среди людей, проснувшихся к духовной жизни и понявших свою внутреннюю общность, свое взаимное братство, а вместе с тем, и сделавших все необходимые логические выводы из такого понимания. Среди диких зверей, защищающих каждый только свою особь, невозможно и никакое общее дело, — так же и среди непосвященных сознанием своего равенства и необходимости подчинения нравственному закону братьев-людей. Духовные, нравственные вопросы, неизбежно стоящие перед каждым решительно человеком от дней его юности, должны быть так или иначе разрешены. И настоящее решение их только одно: любовь, братство, равенство, единение в Бо-

ге Его Сынов». «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его и остальное приложится вам», — хочет напомнить Толстой людям великие Евангельские заветы.

Возрастая и укрепляясь духом после своего духовного рождения, все расширяя и расширяя свой духовный горизонт, Толстой, в конце концов, вовсе не хотел сказать, что то, что он увидал раньше, есть неправда, — нет, но, вслед за этой правдой, ему открылась другая, более широкая и общая правда, вмещающая в себе первую. Все хорошо, все закономерно — и внешние перемены жизни, и отказ от военной службы, и устройство на земле, и помощь раненым, и «опрощение», но при непременно условии, чтобы все это не было просто «делом», «предприятием» (тогда всему этому та же дешевая цена, как и всем остальным бесчисленным «делам» и «предприятиям»), но чтобы всякий такой поступок был одухотворен изнутри человеческого сознания и являлся бы выражением подлинной, духовной жизни человеческого «Я». Только это дает нам гарантию, что все, начатое по наружному виду, как добро на помощь нам и всем братьям-людям, не обратится на завтра в зло, во вред всему миру. А так как внутреннее, — все равно, дурное или хорошее, — всегда предшествует внешнему и составляет его невидимую основу, то Л. Н., как истинный мудрец и жизневидец, и советует всю вообще работу жизни начинать и изнутри, с изменения и совершенствования каждым, каждым из нас своей внутренней природы, поскольку это доступно нашим силам, а не с показных и не прочных изменений одной наружной, лицевой стороны нашего существования. Как бы мы ни украсили фасад дома, но он все таки покри-



вится, если дом не имеет фундамента. Так же и дерева, — как говорит Л. Н., — надо сажать с корнями, а не надеяться, что если ты натыкаешь в землю веток, то у тебя будет сад, под тенью которого ты можешь укрываться от зноя.

Итак, все, чему учил Толстой о внешнем переустройстве жизни — о труде, о собственности, о земле, о церкви, о государстве, о школе и т. д., и т. д. — все это остается в силе, но только на высшей ступени внутреннего роста для Л. Н. как бы изменился центр тяжести: и то, что прежде казалось ему основой, началом всего, теперь заняло второстепенное, подчиненное положение, а то, что раньше, если не для него, то для многих слушавших, но еще не вполне понимавших его, оставалось в тени, — теперь поставлено было им превыше всего, на свое настоящее место.

Л. Н. всегда настаивал на том, что общие религиозные истины — одни и те же для всех исторических религий; что различные религиозные учения, хотя и отличаются друг от друга некоторыми особенностями по времени и месту, в которых они возникли, но основное зерно религиозной мысли в них — одно и то же. Да так оно и должно быть, и иначе не может, потому что — одна душа человеческая и один Бог, а значит, и взаимоотношение между Богом и человеком может меняться только по форме, но никак не по существу.

И вот, мы должны признать, что все обобщая и обобщая свои религиозно-философские выводы, сводя их беспрестанно концентрическими кругами к одному и тому же, главному и единому целому, отказываясь от всего частного и от признания безусловного характера за всем тем, что имеет значение не причины, а только следствия, не основного утверждения, а

только вывода из него, — Толстой тем самым безконечно вырастает в наших глазах. Значение его становится общее и шире. Суждения его приобретают важность не только для его единомышленников, но и для всех людей вообще. Из основателя секты, из яркой, но все же ограниченной пределами индивидуальности, писательской личности, он превращается в одного из тех великих светильников человечества, духовная жизнь, мысли, слова, образы которых приобретают уже общечеловеческое, не стираемое ни временем, ни пространством, не умирающее и не переходящее значение. И не потому, что эта духовная жизнь, эти мысли, слова и образы принадлежат и именно Толстому, — а потому, что в них выражаются вечные свойства и требования человеческой души, как таковой.

Толстой, каким он выразился в своих последних словах и писаниях, — уже не основатель «толстовства», а один из величайших мировых религиозных мыслителей, как личность, как индивидуальность, уже далеко ушедший и от своих близоруких хулителей, и от своих близоруких почитателей. Он уже не может заботиться о том, чтобы дать миру «свое», «себя», оставить всем людям это великое «Толстой», — нет, — он безжалостнейшим образом готов стереть это имя из памяти людей и на его месте написать: «человек» и «Бог».

Ни о каком «толстовском» догматизме или педантизме не может быть и речи. И если кому бы то ни было из любящих и чтущих Толстого пришлось бы когда нибудь делать выбор между догматизмом или педантизмом, с одной стороны, и отказом от «толстовства», с другой, — то лучше отказаться от «толстовства», чем становиться сектантом догмати-



ком и педантом: потому что, отказавшись от «толстовства», как узкого течения, все таки можно прийти к Толстому, как выразителю вечных и общих истин религии и духа, а сделавшись сектантом, т. е. педантом и догматиком, далеко не уйдешь.

Есть, однако, еще одна черта своеобразия, которая выделяет Толстого, как религиозного учителя, основателя нового миропонимания из среды других основателей мировых религий, именно: только одним Толстым было сознано и с полной определенностью выражено (в последнем фазисе его духовной эволюции) то свойство его собственного мировоззрения, которое лишило это мировоззрение характера односторонности и замкнутости. Только один Толстой — как Толстой — понял и высказал, что не нужно никакого «толстовства» (он ведь даже писал об этом, и «Посредником» в свое время была издана брошюра Толстого под названием «Против толстовства»), а нужна только верность общемировой религиозной истине. Толстой едва ли не один только из всех религиозных мыслителей сумел выделить, освободить в своем учении вечное и общее от временного и случайного, от специфически «толстовского», — между тем, как во всех остальных учениях приходится это вечное и общее отыскивать, среди нагромождения случайных, временных элементов, которым, однако, самими то вероучителями придается равноценная важность, потому что всякое такое учение, так или иначе, базируется на своей догматике, и естественно, что всякому магометанину свойственно мыслить и верить прежде всего по-магометански, православному — по-православному, китайцу — по-китайски и т. д. Никто из основателей и учителей мировых религий не учил, прямо и откровенно, тому, что надо в такой то и та-

кой то, исповедуемой им религии, брать только общемировое, основное, а остальное, навязанное исторической эпохой или этнографическими особенностями, отбрасывать или, по крайней мере относиться к нему свободно. Толстой это сделал.

И в то время, как каждая историческая религия отстаивает свое существование, борется за господство над умами людей и защищает себя именно в этой, свойственной ей одной, исторической и этнографической оболочке, религия Толстого только и говорит о том, чтобы люди не воспринимали ее всю, целиком, — механически, по вере, — а чтобы они отнеслись к ней свободно и взяли бы из нее лишь то, что принимает их душа, их сознание, а остальное бы отбросили, и чтобы они не увлекались «толстовством» и не слепо подражали ему, а проверяли бы каждый свой шаг, каждую мысль самостоятельно. Толстой верил, что таким образом люди скорее всего придут к Богу.

Если бы можно было и представилось бы необходимым (как это, по ее словам, пыталась сделать теософия) искать синтеза всех религий, то лучшего, высшего синтеза, мы, наверное, не найдем больше нигде, как у Толстого. И это — синтез, во первых, сознательный; во вторых, покоящийся на внутренних и основных, а не на внешних и случайных признаках.

Толстой, в последнем фазисе своего духовного развития, не только стал в ряд с величайшими религиозными мыслителями мира, но как бы и впредь, на будущее время, — вовсе не делаясь догматиком, — указал единый правильный путь к развитию всякой религиозной мысли (подобно Канту, в его Prolegomena, ко всякой будущей метафизике по-



ставившему себе задачей предугадать и предустановить путь философско-метафизической мысли). Не может более быть религии местной, частной, во множестве случайных образов, — как бы говорит Толстой, — может и должна вести за собой человечество только единая, общемировая, общечеловеческая живая, беспокойная, трепетная, как прекрасная светлая райская птица, религиозная мысль. В построении системы все личное, индивидуальное, всё «человеческое», слишком «человеческое» должно уступить место общему, сверхиндивидуальному, божескому.

Тот зов, который истинная религия должна обращать к человеку, есть, собственно, не «сделай то-то и то-то», а «подумай о том-то и о том-то»; иначе говоря, религия не дает человеку определенных внешних правил или заповедей для слепого выполнения, а стремится только вызвать движение в духовном мире человека, разбудить его спящую душу и поставить ее в наиболее выгодные условия для роста. Но каким именно путем будет совершаться этот рост, какие в нем могут случиться отклонения и замедления или, напротив, ускорения, — этого никто ни предписать, ни тем более предсказать не может. Тут начинается область общения души человеческой с Богом, а «тайна сия велика есть».

Условия терпимости, свободы, как результата сознания мирового единства и единения всех братьевлюдей в Боге, ставит нам новая вера, вера Толстого.

И не хочется допустить мысли, чтобы человечество могло пройти мимо яснополянского колосса, не зацепившись за него.

Ясная Поляна, 16 апреля 1921 года.